

Ш А Р Л Ь  
Л Е В И Н С К И

ВОЛЯ  
НАРО  
ДА



# Шарль Левински

## Воля народа

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=42721344](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42721344)*

*Воля народа: Алтейя; Санкт-Петербург; 2018*

*ISBN 978-5-907030-43-5*

### Аннотация

Курт Вайлеман, журналист на пенсии, немного чудаковат, но он сразу почувствовал, что его коллега Феликс Дерендингер чем-то очень напуган. Спросить об этом он не успел: через час-другой после их встречи Дерендингер уже лежал мёртвый на берегу цюрихской реки Лиммат. Объявили, что это самоубийство, прыжок с высокой стены, хотя дистанция между стеной и прибрежной мощёной улочкой слишком велика для прыжка. Так считает и красивая молодая знакомая Дерендингера, с которой и Вайлеман был бы не прочь сблизиться. Она просила его расследовать эту смерть. Он чувствует себя польщённым и заметно молодеет, приступая к этому заданию. Но его азарт скоро перекрывается страхом, потому что люди, которые вскоре открывают уже лично на него охоту, располагают безграничными средствами. Их могущества хватит и на то, чтобы он тоже бесследно исчез – вместе со своей правдой. Такой властью располагает, вообще-то, лишь новый государственный аппарат, который – с согласия народа – действительно всемогущ. Именно так, как того требует Воля народа.

# Содержание

1	5
2	14
3	21
4	30
5	39
6	48
7	57
8	65
9	75
10	84
11	92
12	101
13	110
Конец ознакомительного фрагмента.	112

# Шарль Левински

## Воля народа

*Моему другу Зиги Остермайеру (1941–2017)*

*Ты был первым читателем всех моих прежних  
книг.*

CHARLES LEWINSKY  
DER WILLE DESVOLKES

*Перевод книги осуществлен при поддержке Швейцарского  
фонда культуры «Про Гельвеция»*

© Nagel & Kimche, 2017

© Т. Набатникова, перевод с нем., 2018

# 1

Вайлеман имел старомодную привычку иногда снимать трубку телефонного аппарата, хотя звонка не было, просто проверить, есть ли ещё гудок. Ходили слухи, что городскую телефонную сеть вообще ликвидируют, поскольку ею уже почти никто не пользовался, ведь у каждого мобильник или что-то ещё более современное, да у него самого тоже, без этого не обойтись. Когда в своё время отключили последнюю телефонную будку, он писал об этом статью, ничего особенного, «Конец эры» или вроде того, да статья в итоге и не вышла, потому что перед самым концом рабочего дня поступило экстренное сообщение, что некая трёхдневная звезда с трёхдневной же щетиной попала в клинику вовсе не с острым аппендицитом, а чтобы откачать лишний жир; так что для статейки места уже не нашлось. Курт Вайлеман сокращённо подписывался “kw”, и потому все, кто его знал, называли его Киловаттом. В те времена, когда ещё водились люди, знавшие его.

Дела давно минувших дней. Теперь он старый пень, старомодная развалина, хотя сам он титуловал себя, немного рисуясь, словом «ретро», тоже давно устаревшим, из текста бы его вычеркнули, потому что многим оно было уже непонятно. Или оставили бы, потому что в наше время уже никто не даёт себе труда откорректировать статью, едва допечатал

– и уже в интернете. Электронная пресса – при одном этом слове у него закипала желчь.

При этом он вовсе не отвергал новшества, они его не затрудняли, он не закоснел, а всего лишь не понимал, для чего надо постоянно перестраиваться, если вещи и в прежнем виде хорошо работали. Например, этот коммуникатор, сверхсовременный прибор, который теперь полагалось иметь каждому. Только он один до сих пор ни разу не взглянул на эту игрушку. Пока голова на месте, зачем тебе этот вспомогательный мозг, так он считал, но реклама убеждала, что без этой штуки ты не полноценный человек. Правда, название «коммуникатор» они так и не смогли внедрить, швейцарский немецкий оказался сильнее, люди говорили «комми», то есть сотрудник офиса, и это подходило, офисный должен был проделывать множество дел, на которые у его шефа не хватало времени. Парикмахер, у которого Вайлеман стригся, донимал его перечислением крутых новейших приспособлений, и однажды он не выдержал, спросил: «И что, этой штукой и бриться можно?», но до парикмахера не дошло; во-первых, никто уже не понимал иронии, во-вторых, никто уже, считай, и не брился. Теперь достаточно было втереть специальный крем – и через минуту уже можно смывать с лица щетину и неделю после этого не беспокоиться. Сам он всё ещё пользовался электробритвой, и его домашний телефон должен был оставаться домашним телефоном, а не той игрушкой, которую всякий раз приходилось искать, когда раз-

давался звонок, потому что без провода у неё не было своего постоянного места.

Его старый аппарат Swisscom пока функционировал безотказно, и даже эта музейная штука умела больше, чем ему требовалось, в ней было десять кнопок для сохранённых номеров, тогда как Вайлеман даже после долгих раздумий не смог бы наскрести десятерых абонентов, которым он мог бы позвонить, как и не набралось бы десяти человек, которое звонили бы ему. Маркус со времени последней ссоры больше никак не проявлялся, было большой ошибкой вступать с сыном в политические дебаты; друзей у него много никогда и не водилось, а коллеги один за другим переселились на кладбище. А чтобы у кого-то нашлась для него работа – такое вообще случалось раз в сто лет.

Он был в том возрасте, когда из редакций звонили только по случаю чьей-нибудь смерти, когда им требовался некролог. «Вы ведь его ещё знали», – говорили эти молодые хлыщи по телефону, не обладая даже толикой такта, чтобы заметить, насколько обидно звучало это «ещё». Это означало: «другие из твоего поколения уже сгнили, только тебя забыли с собой прихватить». Иногда они даже не звонили, а посылали имейл, чаще всего без обращения; считали, видимо, вежливость вымершим видом, даже не давали себе труда писать полными предложениями, а то и разучились этому, вбивали только пару ключевых слов, фамилию покойного и число знаков, которые хотели бы получить, двенадцать сотен зна-

ков, включая пробелы, на обычного покойника, а иногда и того меньше. Вот жил такой всю свою жизнь, бился над чем-то, чего-то достиг, а эти недоросли потом не удостоили его даже колонки.

В его время...

Вайлеман злился, ловя себя на этом «в моё время...», это был признак старения, а ведь он ещё не был стариком, хотя для подтверждения своих водительских прав ему уже дважды пришлось пройти полный медосмотр, совершенно лишняя процедура, машину он уже давно не мог себе позволить, да и зачем при современных автомобилях нужны права, он не понимал, этим машинам уже вообще не требовались водители, по крайней мере, в городе. «Контрольное обследование медицинской водительской комиссии» – вот тоже отвратительная бюрократическая формулировка, но если человек, не дай бог, владеет приличным немецким языком, они его отсеют ещё на стадии заявления, эти безграмотные служаки. Он сходил туда только из принципа, чтобы доказать себе самому, что он ещё в порядке, а перед этим выудил из интернета список минимальных требований, это просто наглость, сколько всего требовалось подтверждать, отъявленная наглость. «Что нет психических заболеваний. Нет нервных заболеваний с постоянными ограничениями. Нет слабоумия». Как будто в семьдесят лет человек автоматически впадает в сенильную деменцию. И оба раза он «с победными знамёнами», нет, не «с победными знамёнами», поправил он



мысленную формулировку, это было тупое армейское клише, а просто с лёгкостью выдержал все эти проверки. У него и всё остальное было в порядке. А тазобедренный сустав, если станет хуже, можно будет когда-нибудь и поменять.

Он был собран, тотально работоспособен, но, увы, если они вообще о нём когда-то вспоминали, это значило, что кто-то определённо умер. И, вероятно, тот ученик-стажёр, который милостиво ему звонил – а они занимали теперь только учеников-стажёров, как ему казалось, а отставленные журналисты должны были радоваться, если им перепадёт случай повосторгаться для аптекарской газеты преимуществами здорового питания, – тот малолетний переписчик ленты новостных агентств, прежде чем взять в руки телефон, наверняка ещё и спросил у коллеги: «А он хоть жив ещё, этот Вайлеман?»

Да, он ещё жив, даже если порой и хочется извиниться за то, что ещё не позвонил в крематорий и не заказал своё устранение. Как бесполезный член общества, только обременяющий пенсионный фонд.

Временами, когда у него было дурное расположение духа, не буднично-серое, а воронёно-чёрное, он раздумывал, кого же они попросят написать некролог на него самого. Если, конечно, газетное место не понадобится для чего-то более важного, обручения певички или любовной аферы футболиста. При этом ему всегда приходил в голову Дерендингер, последний из старой гвардии, Дерендингер, с которым

он постоянно цапался, поначалу из-за политических разногласий, а со временем – по привычке. Дерендингер высосет из пальца пару дружелюбных общих фраз, как и сам бы он сделал для Дерендингера, «журналист старой школы» и тому подобное, двенадцать сотен знаков – и крышка. *De mortuis nil nisi bonum*. «Bonum», а не «bene». Но латыни тоже больше никто не знает.

Лучше было бы самому написать свой некролог, думал Вайлеман, да он и пробовал, исключительно ради шутки, не хочется ведь терять навык, но двенадцать сотен знаков оказывалось слишком мало; кое-что он всё же успел сделать за долгие годы. Один тот случай Ханджина чего стоит, когда его расследование оказалось лучше полицейского, он вышел на верный след и вызволил из тюрьмы невинного, на одно это ушла бы тысяча знаков, никак не меньше. Он всегда хотел написать о том случае книгу, был даже запрос от одного издательства, но тогда он был слишком занят, а теперь, когда у него есть время для пачкотни, это уже больше никого не интересует.

Книги ведь тоже читать перестали, по крайней мере на бумаге, да и газеты люди почти не читают, настоящие газеты, которые утром доставал из ящика и спокойно штудировал за первым эспрессо, сперва политика и экономика, потом местное и в самом конце, на десерт, про спорт. Печатные газеты ещё были, на это у них пока хватало уважения к традициям, но вот только в ящики их больше никто не кладёт. Почта-

льоны вымерли, как вымерли миннезингеры или фонарщики, притом что после краха Европы было полно людей, не находящихся себе работы, потому что они были просто люди, а не специалисты. Больше не было расчёта разносить газеты нескольким подписчикам по домам. А кому хотелось читать их по старинке, тот тащился к киоску, а если проспит, так газеты уже и распроданы. И тогда приходится читать газету с экрана, а это всё равно что целовать женщину сквозь гигиеническую накладку для губ.

Бумага, лучшее изобретение человечества, исчезала из жизни всё больше. В Цюрихской библиотеке всерьёз раздумывали, не пустить ли на макулатуру девяносто процентов фонда, поскольку все книги уже доступны в оцифрованном виде; и хотя предложение было пока что отвергнуто, его черёд ещё придёт, в этом Вайлеман не сомневался. И хорошо, что ты уже не самый юный, по крайней мере до этого не доживёшь.

Сам он любил запах старой бумаги, продолжал вырезать газетные статьи и сохранял их, хотя всё уже было в интернете. Для стопки бумаг на письменном столе ему не требовалась функция электронного поиска, он и не хотел бы такую иметь, с её помощью находилось только то, что ты конкретно запросил, чёткое словосочетание, а ведь при этом не сделаешь тех случайных открытий, которые и составляют самый большой интерес. И пусть это требует затрат времени – à la bonheur, время у него было, даже с избытком. Хотя люди и

говорят, что с годами дни бегут всё быстрее, ему казалось наоборот; каждое утро он пытался полежать подольше, чтобы сократить время ожидавшей его скуки, но из этого ничего не выходило, получалось всё хуже и хуже; в его возрасте требуется больше сна, но получаешь его всё меньше; в этом было уже что-то от разговоров о предсениином бегстве кровати.

Об этом следовало бы написать, автоматически подумал он и так же автоматически разозлился на то, что этот рефлекс всё ещё оставался жив в его голове. Ему следовало бы, наконец, привыкнуть к тому, что его текст больше никому не нужен, самое большее – некролог, да и тот лишь в том случае, если умерший принадлежал к рангу позавчерашнего сервелата, в лучшем случае чипполаты, короче, одни лишь мелкие сосиски. В случае интересных покойников он был не вхож в круг, зарезервированный для начальства; этот круг причислял себя к благородным перьям. Он не сомневался, что все они уже тайком кропают некролог на Штефана Волю, которому осталось недолго, судя по тому, что можно вычитать из больничных сводок. Некролог на Волю – вот было бы интересное задание, которое не втиснешь в двенадцать сотен знаков, и он, Вайлеман, сделал бы его совершенно иначе, не так, как уже заготовлено у них в компьютерах, осталось только подогреть. Он бы написал и критическое эссе, но не пытался бы, как это ожидается, посмертно влезать господину партийному руководителю в задницу. Но никто не закажет ему некролог на Волю, а если бы они и заказали, то не

напечатали бы.

– «Напечатать» – старомодное слово. Скоро печатать не будут вообще ничего.

Он заметил, что произнёс это вслух в пустоту комнаты, и рассердился сам на себя. Кто начинает разговаривать сам с собой, это было его твёрдое убеждение, тот уже созрел для дома престарелых.

Потом зазвонил телефон – разумеется, когда он сидел в туалете. А как же иначе. Но заказ есть заказ, и с тех пор, как пенсионные выплаты уже вторично были сокращены, нельзя было позволить себе пропустить его. И Вайлеман прискакал в гостиную со спущенными штанами. В одинокой жизни есть свои преимущества.

– Вайлеман.

– Это Дерендингер.

Вайлеман быстро подтянул штаны, хотя в его старомодном телефоне не было камеры.

– А тебе-то что от меня вдруг понадобилось?

Слишком уж отторгающе получилось. Пусть он всегда собачился со своим старым конкурентом, всё же это был человек, с которым можно перекинуться словом на равных, а такие беседы случаются не каждый день. Но Дерендингер, кажется, не обиделся.

– Хотел бы встретиться с тобой.

– Зачем?

– Партию в шахматы сыграть. Как в старые времена.

Один-единственный раз он попытался с Дерендингером сыграть в шахматы, после скучной пресс-конференции, с которой оба улизнули, и это была очень короткая партия. Вторую они даже не начинали, слишком велика была разница в классе игры; он, Вайлеман, был тогда второй доской в объединении, а Дерендингер – зелёный новичок, попался на мат в три хода.

– Эй, ты ещё здесь?

В последнее время всё чаще случалось, что он посреди дела уходил в свои мысли и просто бросал начатое. Это всё

от одиночества. Пару дней назад это случилось с ним в супермаркете «Мигро», он начал сканировать свои скромные покупки и потом...

– Алло?

– Да-да, я здесь. Просто я удивлён. Целый год я от тебя ничего не слышал, и вдруг ты звонишь и хочешь...

– Одну партию. Уж на это ты найдёшь время. Или ты как раз пишешь большой репортаж для *Нью-Йорк Таймс*?

– И где?

Раньше он всегда играл в *Бойне* на Хердерн-штрассе, это было неофициальное кафе их объединения, боковая комната, пустующая, если не было футбольного матча на новом стадионе Летцигрунд и сюда не набивалось фанов, желающих остудить охрипшие глотки пивом. Пока вся местность не стала потом востребованной и крутой и уютная *Бойня* не превратилась в модный ресторан. Больше он там не показывался. «Швейцарско-азиатская кухня» – для него это было не приманкой, а предостережением: что бы это могло быть – суши с картошкой «рёсти»? Обжаренные колбаски с пропущенной соей? Такого себе и впрямь не пожелаешь. Потом и само шахматное объединение распалось. Стали играть с компьютером, запрограммировав его на победу или на поражение.

– Алло? Вайлеман?

Надо бы ему отвыкать от этих отклонений мысли. Сам ведь всегда проповедовал молодым коллегам: «Главное, что

должен уметь репортёр – это слушать».

– Я жду, что ты предложишь место.

– На Линденхофе.

– А что, там появилось какое-то кафе?

– Ну, поле, где эти большие фигуры.

Если и было что-то ещё хуже, чем шахматы с компьютером, так это шахматы под открытым небом, этот мини-гольф с площадкой в 64 клетки, где пенсионеры убивали своё пустое время. Он сам пенсионер, убивающий время, но пока не докатился до того, чтоб у всех на глазах передвигать по земле громоздкие деревянные фигуры. Знал он и этих шахматистов: они держались так, будто класс их игры был не меньше Ело-2000, корчили из себя знатоков, а сами не могли распознать английский дебют, который им подавали на серебряном блюде, гарнированный кресс-салатом, с ломтиком лимона в пасти.

– Нет уж, Дерендингер, если тебе приспичило проиграть мне партию, подыщи для этого какое-то более разумное место.

– Это важно, – сказал Дерендингер таким тоном, будто речь шла о жизни и смерти, – правда, Киловатт. Через час, идёт? В половине третьего?

– Мы могли бы...

Но Дерендингер уже повесил трубку. С возрастом впал в чудачество. Лучше всего было тут же забыть про его звонок, сделать вид, что разговора вовсе не было, они же, в конце



концов, так и не условились. Но с другой стороны...

Может, из-за того, что Дерендингер назвал его «Киловаттом». Это прозвище уже все забыли. Или просто любопытство. Что-то необычное крылось за тем, что старый коллега – или конкурент, но ведь конкурент всегда и есть коллега, – по прошествии вечности вдруг позвонил и предложил сыграть в шахматы именно на Линденхофе. Шахматистом Дерендингер был никудышным, и если в сорок лет был таковым, то к семидесяти вряд ли вдруг стал Капабланкой. Да ещё этот умоляющий тон – от человека, который всегда задирает нос, «il pète plus haut que son cul», как говорят французы. Всегда важничал, потому что работал когда-то в *Нойе цюрхер цайтунг*, а тогда это было чем-то вроде журналистской аристократии. Нет, тут крылось что-то непонятное, да если даже и пустяковое, времени у него полно.

Через час на Линденхофе, он успевал.

«Самый жаркий июль с начала наблюдений за погодой», как говорили по телевизору, но это они говорили каждый год, поэтому он всё равно надел синий пуловер, растянутый, но очень удобный. С возрастом становишься мерзлявым. Но потом снял пуловер, а то Дерендингер ещё подумает, что он превратился в одного из этих неопрятных стариков, которым наплевать на свой внешний вид. Английский пиджак с кожаными латками на локтях хотя и не новый, но такого рода одежда со временем становится только лучше.

Выходя из дома – тоже допотопный рефлекс – он автома-

тически открыл почтовый ящик, хотя была среда, а почту приносили только по вторникам и пятницам; кто ж теперь шлёт письма? Кто-то всунул в щель лишь рекламную листовку, «Всем истинным швейцарцам!», это можно было сразу в мусорный бак, пусть и в глянцевого исполнении. Сама эта раздача рекламных листовок стала чем-то вроде фольклора, дань народному обычаю, пользы уже никакой. На большинство не действует.

Он поехал в город на трамвае, метро так и не построили, хотя планы были, но когда швейцарская экономика пошла под уклон, проект уже не финансировался. Но ему-то что, от Хееренвизен до центра на «семёрке» – всего пятнадцать минут. Это преподносилось ему как огромное преимущество, когда ему пришлось отказаться от своей прекрасной квартиры в Зеефельде, тот дом отреставрировали в высшую лигу цен, играть в которой журналисту на пенсии было не по карману. Притом, что «на пенсии» в его случае было понятием весьма теоретическим, он слишком долго пробыл на вольных хлебах, а пробелы в пенсионных отчислениях – это вам не лакуны в зубах, которые легко перекрываются мостами. С тем, что раз в месяц капало на его счёт, можно было даже не заглядывать в магазин деликатесов.

Трамвай был забит, целый школьный класс занял все места, и, разумеется, никто из молокососов и не подумал уступить ему место. С другой стороны – стакан либо наполовину пуст, либо наполовину полон – в этом был и добрый знак:

он явно ещё не выглядел старым и дряхлым, хотя лучше бы ему предложили место, а он бы на это ответил: «Спасибо, не надо, я постою». Пока что его тазобедренный сустав вел себя терпимо.

В центре все школьники разом вывалились вместе с ним – видимо, направлялись в муниципальный музей – там теперь, так пишут, не было дыхания от посетителей, с тех пор, как история Швейцарии снова стала важным предметом в школе.

Он прошёлся пешком по набережной Лиммата, делать пересадку ради одной остановки не стоило. По пути попадалось много туристов, сплошь азиаты. Он когда-то запомнил, что разные национальности азиатов можно различать по углу наклона глаз: у одних стрелки на восемь-двадцать, у других на девять-пятнадцать, у третьих на десять-десять. Правда, он забыл, кто из них при этом японцы, кто китайцы, а кто корейцы. Забавно было видеть, как иногда вся группа туристов разом поворачивалась кругом, это походило на народный танец, но, разумеется, было всего лишь панорамным снимком, который они делали камерами своих очков. Не доходя до моста Урания одного из корейских японо-китайцев остановил дружинник «допопо» – за обёртку от жвачки, брошенную на землю, и азиат отреагировал на это не смущением, не стыдом, а приступом счастья, он подобрал бумажку, извинился, множественно раскланиваясь, и побежал догонять своих спутников, чтобы с восторгом поведать им о своём приклю-

чении. В своём дневнике, нет, разумеется на своей страничке Фейсбука он наверняка напишет: «Туристическая реклама ничуть не преувеличивает: Цюрих и правда самый чистый в мире город, почище Сингапура». Может, он выложит там и фото «допопо», находя его очень крутым, этаким приятный молодой человек в голубой униформе дружинника.

Вайлеман не жаловал этих добровольных помощников полиции, все они были карьеристы и упивались своей властью, а ведь мир не перевернётся, если клочок бумажки или окурок упадёт на землю. И без того кругом стало слишком чисто, слишком упорядоченно. В его юности был в одной популярной песне призыв – «побольше грязи!» Сегодня бы такую песню, пожалуй, запретили, нет, не запретили бы, а просто никогда бы не исполнили. Такие вещи регулируются теперь деликатнее, чем раньше.

Лестница вверх к Линденхофу показалась ему более крутой, чем раньше. Написать бы заметку об этом, предложить новый метод определения возраста – не по числу прожитых лет, а по тому, сколько раз ты остановишься передохнуть на таком подъёме. Но маленькие заметки были сейчас востребованы в редакциях примерно так же, как кровяные колбаски на конгрессе вегетарианцев. Ну и пусть, думать-то об этом пока не запрещено, use it or lose it. Донимают ли и других людей мысли о вещах, которые больше никому не нужны? Надо бы спросить об этом Дерендингера.

Но Дерендингера нигде не было, в том числе и среди зевак, которые толпились вокруг шахматного поля. Тут были сплошь мужчины, в том числе и молодые, все настолько праздные, что могли провести на Линденхофе целых полдня среди рабочей недели. Вайлеман давно подозревал, что официальные данные по безработице не соответствовали реальности; как только человека снимали с пособия по безработице, так он больше не числился среди безработных.

У него был намётанный взгляд, и положение игры он оценивал быстро, даже по этим непривычно большим фигурам, опыт есть опыт. Игра была в фазе дебюта, сицилианская защита в московском варианте, партия того сорта, что легко затягиваются во времени; очередь следующих игроков на этом игровом поле подойдёт нескоро. Неужто Дерендингер всерьёз полагал, что стоит только прийти сюда – и не окажется других желающих сыграть, останется лишь расставить фигуры, какая наивность с его стороны. Ещё и непунктуальный. «Через час», – сам же сказал, и если уж Вайлеман успел добраться, того же можно было ожидать и от Дерендингера. Он дал ему ещё пять минут. Самое большее – десять.

Он прибыл сюда, полный предубеждения против этих парковых шахмат, и теперь с удовлетворением отметил, что действительность оказалась ещё смехотворнее. Уже одно то,

как шахматисты таскались с этими огромными фигурами, выглядело по-дурацки, а что касается комментариев зрителей – таких досужих болельщиков они в объединении называли ротозеями. Когда белые производили рокировку – в той позиции, в какой и по учебнику полагалось при таком дебюте делать рокировку, они комментировали этот ожидаемый ход с таким возбуждением, будто игра в шахматы только что была изобретена.

Ещё и толкались. Один ткнул его локтем в бок так, будто зрительское место у кромки поля было зарезервировано за ним. Вайлеман хотел огрызнуться на парня – надо иногда выпускать на волю своё плохое настроение, свежий воздух идёт ему на пользу – и уже повернулся к невеже, но это оказался Дерендингер, он стоял рядом, постаревший Дерендингер, даже массивная оправа очков не могла скрыть мешки под глазами.

– Явился-таки?

Дерендингер не ответил, казалось, он даже не услышал его, уставившись на игровое поле, как будто традиционная позиция была самым интересным, что он когда-либо видел.

– И как ты себе представлял, чтобы мы здесь...

Он не договорил фразу. Дерендингер сделал еле заметное отрицательное движение головой – будто прошептал «нет», но совсем не это заставило Вайлемана смолкнуть. Что-то заганнанное было в лице Дерендингера, такой страх на нём отражался, что Вайлеман поневоле подумал: э, да мужик сильно

напуган.

Но чего тут было Дерендингеру бояться?

Он сильно изменился с тех пор, как они виделись в последний раз, это было на встрече ветеранов – одной из тех вечеринок, на которые Вайлеман ходил три раза, как он любил говорить: первый раз, последний раз и лишний раз; сплошь люди, живущие прошлым и докучающие друг другу своими победами, совершёнными в незапамятные времена. «И тогда я ворвался в главную редакцию и шарахнул кулаком по столу». На самом деле они, разумеется, стучались, вытягивались по струнке перед столом шефа и смиренно молчали, получая нагоняй. После пары пива они по очереди рассказывали, за каким хобби они проводят немереное свободное время – собирают марки или разводят кактусы. Когда очередь дошла до Дерендингера, он с невероятной крутостью заявил: «А я всё ещё работаю. Занят одной большой историей». Ему, конечно, никто не поверил, но Дерендингер был не из тех, кому в лицо возражают. Авторитетная фигура.

И вот...

Он был слишком тепло одет для летней погоды: под пиджаком ещё пуловер. Но Вайлеману не показалось, что капли пота на лбу Дерендингера выступили от жары. То был холодный пот на бледной коже. И глаза его метались из стороны в сторону, будто он хотел удостовериться, что никто за ним не наблюдает. Когда он, наконец, что-то сказал, всё ещё плясая на шахматные фигуры, его слова вообще были лишё-

ны смысла.

– Интересная расстановка, а?

Как будто знатока корчил из себя человек, который без шпаргалки не помнил, как ходят фигуры. Нет, слово «чудак» было недостаточно для его характеристики. С Дерендингером стряслось, как видно, нечто худшее, и нетрудно было отгадать, что именно. В интернете – разумеется, на такие вещи поглядываешь, даже если не хочешь, – было достаточно описаний этого расстройства. «Неумолимый Алоиз», так они называли Альцгеймера тогда, когда диагноз был ещё в новинку.

– Напоминает мне ту партию в Цолликоне, – сказал Дерендингер, по-прежнему не глядя на него.

Вайлеман не мог припомнить, чтобы когда-нибудь был в Цолликоне. Полностью исключить это он не мог, ведь он отыграл множество местных турниров, а позже все они смешались в голове. Но если и бывал, то Дерендингера там точно не могло быть.

– Ну, ты помнишь. Та игра, чёрным был мат ещё до того, как белые сделали первый ход.

– Что-что?

– В шахматном клубе на Альте Ландштрассе. – Он подал ему знак, как заговорщик в плохом фильме, глазами и всем лицом, и повторил ещё дважды: – На Альте Ландштрассе, на красивой Альте Ландштрассе.

В голове у Вайлемана что-то шевельнулось, не прямое



воспоминание, а лишь что-то схожее. Воображение, разумеется. Несколько лет назад он написал статью об этом механизме: достаточно спрашивать человека о чём-то довольно долго – и рано или поздно ему будет казаться, что он действительно это пережил. Иногда он может даже описать это, во всех подробностях. Но шахматная партия в Цолликоне? Нет, вот уж нет.

– О чём ты, вообще, говоришь?

Дерендингер не отвечал, всё ещё пялясь на игровое поле, где вот уже несколько минут не происходило ровно ничего. Белые не могли решить, то ли взять чёрного слона, то ли нет. Типичный дилетант, зачем он так играл, если не хотел размена слонов?

– Эй! Есть кто-нибудь дома?

Дерендингер вздрогнул. Он жестом подманил Вайлемана ближе к себе и пробормотал – так тихо, что тот еле слышал:

– Цолликон, Киловатт. Погугли, если не помнишь. Была тогда одна большая история. Во всех газетах.

Свихнулся, жаль. Как правило, Алоиз прокрадывается в мозги незаметно, но к Дерендингеру он, похоже, вломился с фомкой. Если человек вспоминает дела, никогда не происходившие, то не надо быть членом швейцарского объединения медиков, чтобы знать, что с ним стряслось. Дерендингер никогда не был ему особо симпатичен, но уж интеллект у него было не отнять. И вот он расфантазировался на всю мировую историю. Не противоречить, это самое лучшее в та-

ких случаях. Кивать и улыбаться. И сматываться как можно быстрее.

– Ты должен провести расследование, – лопотал Дерендингер. – Проиграть всю партию ещё раз от начала до конца.

– Я сделаю, – сказал Вайлеман. – С первого хода до последнего.

Не возражать.

– Правильно. Поверь мне: получится очень интересная статья.

Ещё бы. Заметка о шахматной партии, которой никогда не было – да ради этого любая газета освободит тебе титульную страницу.

– Я позабочусь об этом, – сказал Вайлеман и сам заметил, насколько притворно звучит его голос. – Обещаю. Но сейчас мне уже пора, к сожалению. У меня ещё одна встреча.

Видимо, врал он не очень убедительно, взял неверный тон, поскольку Дерендингер с нарастающим волнением вцепился ему в рукав.

– Ты правда должен это сделать, – говорил он, и это опять звучало умоляюще, совсем как по телефону сегодня, – это важно. Нет вообще ничего более важного, поверь мне. Во всей Швейцарии нет ничего более важного. И поговори с Лойхли.

– Лойхли?

– Который тогда организовал турнир.

– Разумеется, – солгал Вайлеман. – Лойхли. Теперь я при-

поминаю.

– Хорошо, – сказал Дерендингер. – Вот и хорошо.

Белые, наконец, решились на размен слонов. В общей суматохе, пока оба игрока таскали свои фигуры, а зеваки отпускали свои комментарии, Дерендингер сунул руку в карман своего пиджака.

– Вот, – сказал он. – Чтобы ты не забыл.

Он вложил что-то в ладонь Вайлемана, что-то мелкое, остренькое, больно впившееся ему в кожу.

– Эй! Что это?

Но Дерендингера уже не было рядом. Как сквозь землю провалился, подумал Вайлеман и разозлился на себя за то, что его голова производит такие штампованные формулировки. В статье он бы вычеркнул эти слова и искал бы более оригинальный образ. Ему пришлось довольно долго озираться, пока он не увидел Дерендингера уже на некотором отдалении – тот прокладывал себе путь сквозь толпу китайских – или японо-корейских – туристов, пока не скрылся из поля зрения за источником Хедвиги. Этот памятник недавно отреставрировали, о чём Вайлеман вспомнил только сейчас; фигура женщины в доспехах, свежеотполированная, блестела в предвечернем солнце. Всё, что было связано с патристическими подвигами, рано или поздно реставрировалось.

Догонять Дерендингера не имело смысла, да Вайлеман и рад был избавиться от него. С такой-то кашей в башке... Он отошёл от шахматистов и заспешил к одной из парковых ска-

меек, которую только что освободила молодая парочка. Долгое стояние на ногах плохо сказывалось на его тазобедренном суставе.

Психи любят делать странные подарки. В одном интервью правительственный советник рассказывал, что одна женщина, совершенно незнакомая, каждую неделю посылала ему бумажный цветок, искусно вырезанный и склеенный из газетной бумаги. Колючий предмет, который Дерендингер сунул ему в ладонь, оказался одним из тех значков с гербом кантона, которые вошли в обиход пару лет назад, и теперь почти каждый носил на лацкане пиджака герб своего кантона, но сам Вайлеман – нет, он в принципе отвергал все явления моды. На эту тему он тоже в своё время поругался с Маркусом. Значок был с гербом Берна, и это означало, что значок не мог изначально принадлежать Дерендингеру, ведь носили значки своих родных кантонов, а Дерендингеры, как следовало из самой фамилии, происходили из Золотурна. Игла значка заржавела, то есть вещь была не новая. От эмали отломился маленький кусочек: у бернского медведя теперь отсутствовал красный язык. Должно быть, Дерендингер где-то подобрал значок и в своём безумии принял его за что-то ценное.

Вайлеман уже хотел выбросить подарок, но мимо как раз проходили двое этих голубых дружинников «допопо», а ему не хотелось платить штраф за «littering». Вообще-то даже странно, что они всё ещё используют эти английские выра-

жения, притом что чураются всего иностранного. Но как бы ни называлось нарушение порядка, герб кантона нельзя было просто так швырнуть на землю, не то наживёшь неприятности. И он сунул значок в карман и закрыл глаза. Ещё минут десять погреюсь на солнце, подумал он. Время у него было.

Кровать была удобной, и Вайлеман её за это ненавидел. Это был недобрый знак, что тебе вдруг потребовалась такая удобная кровать; когда он был ещё молод, он спал в палатке на голом полу, ему и термическая подстилка не требовалась. А теперь ему пришлось заказывать эту больничную кровать, правда, они её так не называли, но в принципе это было нечто иное, как больничная кровать, кровать для дома престарелых, кровать модели «Следующая остановка – кладбище». Но удобная, это надо признать. Когда он устанавливал её в правильную позицию, он почти не чувствовал свои тазобедренные суставы, а если поднять верхнюю часть, кровать превращалась в удобное кресло для телевизора.

К сожалению, телевизионную программу не настроишь так, чтоб от нажатия кнопки всё становилось так, как тебе нравится; такого они ещё не изобрели. Можно было щёлкать по всем каналам хоть вверх, хоть вниз – и не найти ничего, что было бы тебе интересно, тем более по швейцарскому телевидению – или как оно теперь называлось – передавали всегда одно и то же, только названия меняли не реже, чем иной человек меняет носки. На одном канале готовили еду, заливаясь тирольским пением – или наоборот заливались тирольским пением, готовя еду, а по другому каналу гоняли какие-нибудь документальные фильмы по швейцарской ис-

тории, в Грандсоне благо, в Муртене отвага, а в Нанси бодяга. Иностранцы были ничем не лучше, если они вообще давали всю программу целиком, а не только трейлеры передач, которые будь любезен сам вылавливай потом из интернета.

Было бы разумнее прочитать хорошую книгу, но по вечерам его глаза уже отказывали. «В вашем возрасте приходится мириться с переутомлением», – сказали ему в университетской клинике, что на самом деле означало: «Для таких стариков, как вы, медицинская страховка уже не предусматривает дорогостоящего лечения». Поэтому всё-таки телевизор. На деревенской площади за длинными столами сидели люди под дождём, набросив поверх своих национальных нарядов прозрачные накидки, и раскачивались в такт деревенскому оркестру. Типичный повтор во время летнего отпускного застоя; про погоду сегодня нигде не сообщали. По второй программе...

Телефон, разумеется, звонит как раз тогда, когда ты только что удобно устроился. Если это опять окажется массовый обзвон, компьютерный голос, желающий что-то навязать ему и продать, страхование или членство в каком-нибудь клубе для пожилых, то завтра же утром он первым делом напишет едкую жалобу, солёную и перчёную. В конце концов, они взимают с него ежемесячную плату за то, что его номер избавлен от рекламы. Кровать имела дополнительную функцию подъёма, с лёгким принуждением опрокидывая тебя на ноги, а поскольку другая домашняя туфля куда-то запропа-

стилась, он потащился к письменному столу полубосой.

– Вайлеман.

– Нам нужен некролог, – сказал молодой человек, судя по всему, лишь недавно переживший юношескую ломку голоса.

– С кем я говорю?

– А разве вы не видите это на вашем дисплее?

Разумеется, у его телефонного аппарата был дисплей, ведь он происходил не совсем уж из каменного века, но показывал он только номер звонившего, а не так, как современные аппараты – одновременно имя и адрес.

– Это *Вельтвохе*. – Таким тоном, как будто он говорил: «Это Белый дом». Или: «Это Ватикан». Притом что это была всего лишь газета, окей, самая крупная, но сам по себе тираж ещё не канонизирует издание в святые, а что касается традиций, которыми они так гордились – только из-за того, что они всё ещё носили в своём названии «вохе», неделю, хотя уже много лет выходили ежедневно, ещё не значило, что их основал сам Йоханнес Гутенберг. Но неважно, заказ есть заказ.

– Некролог, окей.

– Завтра к двенадцати дня. И, пожалуйста, с точным соблюдением объёма.

– Дюжина сотен знаков, объём известный.

– Максимум тысяча. Кажется, не такой уж важный был человек. Всё понятно?

– Ну, может быть вы будете так любезны и назовете мне



фамилию этого человека.

Вообще-то использовать сарказм с такими людьми было сущим расточительством, у них ещё в школе журналистов выветривалось из мозгов всякое чувство юмора.

– Фамилию. Да, конечно. – Вайлеман слышал клацанье клавиатуры. Молодой господин помощник редактора вынужден был и впрямь наводить справки.

– Дерендингер, Феликс, – произнёс ломкий голос после паузы. – Вроде бы журналист. Но ведь вы еще знали его?

Кальвадос, который он держал в холодильнике на крайний случай, не был настоящим, хороший импортный продукт он давно уже не мог себе позволить. Произведён в Тургау, но дело сейчас было не в его происхождении. Ему неотложно требовался глоток от шока, и не один.

Дерендингер.

Ещё несколько часов тому назад он был еще жив, выглядел хотя и не очень здоровым, видит Бог, но и не смертельно больным. Он был не в себе, но от Алоиза не умирают, с ним доживают до преклонных лет, он знал случаи, когда уже следующее поколение попадало в дом престарелых, всё ещё неся ответственность за отца или мать, которые ничего не помнили и никого не узнавали. Нет, тут было что-то другое. Ведь они же беседовали, чёрт возьми, пусть это была не настоящая беседа, окей, Дерендингер подбивал его на какую-то глупость, но всё равно, а потом он ушёл, не простившись, через площадь. Что же могло после этого произойти? Поче-

му этот тинейджер из *Вельтвохе* не сказал, что случилось с Дерендингером?

Его старый журналистский рефлекс всё ещё подсказывал ему тут же сесть за телефон и обзванивать – сначала семью Дерендингера, если у него ещё была семья, женат он, по его сведениям, не был никогда; или обзвонить больницы, одну за другой, не так уж их много в Цюрихе. Интернет всё ещё был последним, что пришло ему в голову, хотя он вполне управлялся с ним, но что поделаешь, сила привычки.

«Дерендингер, Феликс», – вбил он в поисковик и нажал на приоритет «за последние сутки».

Было даже фото, снятое на улочке Шипфе. Очертания тела, прикрытого парусиной, из-под которой вытекла кровь. Увеличив снимок, он даже смог различить надпись на искусственной ткани: «Лиммат-клуб Цюрих». Наверное, это было ближайшее место, где они смогли раздобыть кусок парусины. Дерендингер, должно быть, упал здесь внезапно, оступился и рухнул, или инфаркт, нет, не инфаркт, от него не истекают кровью, а просто оседают на землю.

Ни то, ни другое. Там было не одно, а несколько сообщений, от прохожих, которые случайно шли мимо и не упустили возможности тоже поиграть в репортёров. «Упал с Линденхофа», – в этом все они сходились. Один якобы даже видел падение своими глазами, воображала, такие всегда находятся при любом несчастном случае, но следы казались однозначными. Появилось уже и суждение городской полиции:

«Предположительно самоубийство». Потерпевший, как считалось, поднялся на стену наверху, на Линденхофе, и спрыгнул оттуда вниз. О его мотивах ничего не известно.

Поднялся на стену так, что этого никто не заметил? Это не подходило к тому впечатлению, которое осталось у Вайлемана от вчерашнего посещения Линденхофа. Да, Дерендингер ушёл в ту сторону, мимо источника Святой Хедвиги, но там было полно народу, главным образом туристы, и все они непрерывно фотографировали. Сам Вайлеман со своей парковой скамьи не мог просматривать пространство до стены, но был уверен, что уж там-то то они тем более теснились; снимать панораму набережной Лиммата сверху, от Линденхофа, входило в обязательную программу любой городской экскурсии. И, несмотря на это, Дерендингеру якобы удалось сделать это, никем не замеченным? И даже если так: хотя бы на одном из этих туристических снимков его прыжок запечатлелся бы, да что там на одном, на дюжине, ведь эти люди начинали снимать уже за завтраком в отеле и отключали свои аппараты только ложась в постель. Не говоря уже о камерах видеонаблюдения, которые в городе охватывают каждый квадратный метр, поначалу были даже протесты против такой системы, но сопротивление потом как-то усыпили – может, потому, что камеры стали меньше и не так бросались в глаза, или просто потому, что люди увидели бесполезность сопротивления. Если на какой-нибудь отдалённой улочке кто-то бросит на землю окурок, на следу-

ющий же день по мейлу придёт уведомление о штрафе, а тут вдруг не оказалось ни одного снимка скандального самоубийства? «Полиция проводит следственные действия», это, конечно, было только колебание воздуха, Вайлеман за годы своей профессиональной работы начитался таких отчётов и больше не попадался на эту формулу. «Проводит следственные действия» означало: «Чего мы будем носиться сломя голову? Есть на свете дела и поважнее мёртвого старика».

Кальвадос из Тургау обжигал глотку, подделка была не очень удачной, но Вайлеман налил себе ещё один стакан. Было свинством, что полиция не восприняла этот случай всерьёз, для выписывания штрафов у них людей хватает, любой пьяница, не сумевший добраться до ближайшей туалетной кабинки, был им важен, важнее мёртвого Дерендингера. Если бы Вайлеман ещё работал в газете, он бы тут же сел и написал пламенную статью против такой дикой диспропорции, но написать такой же текст для интернета, где он стал бы одним из сотен тысяч склочников и придир, какие и без того уже плотно населяют его – на это у него не было охоты. Там нет читателей, по крайней мере настоящих; с тех пор, как достаточно нажатия кнопки, чтобы мигом опубликовать на весь мир любой мозговой пук, все они были слишком заняты тем, что пишут сами.

Ещё один стакан. Завтра он проснётся с головной болью, но плевать на это, такой некролог он при необходимости напишет и в коме. И без того было чистой наглостью заказать

ему такое, тысяча знаков, этого хватило бы для собаки, раздавленной посреди дороги, но не для Дерендингера, который как-никак был кем-то вроде старшины журналистского цеха; точную биографию он бы выудил из сети. Дерендингер однажды несколько лет проработал в Германии, но Вайлеман хоть сдохни не мог вспомнить, то ли в *Цайт*, то ли в *Вельт*. Наверное, в *Цайт*, ему это больше подходило.

Неважно. Завтра.

Кухонный пол охлаждал его босую левую ступню, неудивительно, когда ходишь в одном тапке. В его прежней хорошей квартире при реновации встроили обогрев пола, кухню декорировали мрамором, а туалет, наверное, кристаллами Сваровски. Они прислали ему проект с подлю-дружелюбным письмом, с ударением на «подлю», мол, если он после перестройки снова хочет арендовать эту квартиру, то он, разумеется, будет приоритетным съёмщиком. При этом они точно знали, что он не мог себе это позволить. А где, собственно, жил Дерендингер? Вот так, знали друг друга целую вечность, ахватишься – не знаешь о человеке ничего, кроме того, что касалось профессии. Перечислить газеты, в которых работал Дерендингер – и всё, для большего места уже не хватит. Журналистскую премию он тоже один раз получал – или даже дважды? Это тоже надо перепроверить. Но личное? Ошибка индикации. «Ведь вы его ещё знали». Нет, на самом деле он его не знал, ведь не напишешь же, что Дерендингер был никудышный шахматист, а к старости ещё и свихнулся.

Но ведь он был из старой гвардии, следующий на очереди, пожалуй, будешь ты сам, последний из могикан, и когда они будут искать кого-то, кто тебя ещё знал, они не найдут никого. Конец древка.

Не такой уж и отвратительный вкус у этого кальвадоса, когда к нему привыкнешь.

Такое ему ещё в детстве снилось, а потом не раз повторялось, некоторые вещи не меняются. Он мог летать, нет, парить – более точное слово, зависать на пару сантиметров над землёй таким человеком на воздушной подушке и летать по незнакомым улицам, а иногда – без всякого усилия – возноситься вверх по лестнице, это всегда было самое лучшее. Чувствовал себя при этом таким лёгким. И потом вдруг...

Он не знал, что именно его так внезапно вырвало из полёта.

Препятствие, да, это было препятствие, табличка с названием улицы, и как бы ему вспомнить, что на ней было написано...

Альте Ландштрассе.

Нет ничего удивительного в том, что событие дня преследует тебя и во сне. Сперва странное поведение Дерендингера, потом его смерть, а ему ещё и некролог писать, тысячу знаков. «Не очень важный человек», сказал тот нахалёнок. Притом что Дерендингер был как раз величина. Но обычный смертельный случай, не важно, как это произошло, не повод для броского заголовка, не то что рухнувший самолёт или смачное убийство.

Убийство.

Он не мог бы объяснить, какой механизм сработал в его

голове, но внезапно все части сами собой встали на место. Всё это время мысль его шла по ложному следу, он рылся не в том ящичке; так бывает, когда встретишь на улице человека, про которого точно знаешь, что он тебе знаком, но не можешь вспомнить, откуда. Мысленно перебираешь картотеку коллег, а потом оказывается, что это школьный товарищ, с которым не виделись после выпуска, или аптекарь, у которого всегда покупаешь таблетки от головной боли, не важно, человек из совсем другого отделения твоей жизни. Но это произошло с ним только потому, что Дерендингер говорил о шахматной партии, а к шахматам это не имело отношения.

Цолликон, Альте Ландштрассе, это был адрес, где тогда совершилось убийство Моросани, с первого же дня историю так и называли, тут сочинителю заголовков не пришлось ломать голову, обозначение само напрашивалось из-за аллитерации Morosani-Mord. M & M. Когда же это было? Лет двадцать тому назад? Больше тридцати. Ты постарел. Столько всего изменилось с того времени.

В редакции тогда так и говорили: Мо-Мо. Момо, как у Михаэля Энде.

Если для Дерендингера в этом и заключалось всё дело, почему он не сказал напрямую? Старческое слабоумие? Или у него была причина говорить обвиняками? Маскировка? Может, он говорил про шахматную партию, потому что в той обстановке это меньше бросалось в глаза? Но отчего Дерендингеру приходилось маскироваться? От кого?



«Сто вопросов не продвинут тебя вперёд, – гласит старое журналистское правило. – А единственный ответ продвинет».

Итак, по порядку. Если Дерендингер действительно имел в виду убийство Моросани, если просто принять это в качестве гипотезы, что ещё из этой истории он упомянул?

Самого Вернера Моросани, естественно. Президента-основателя партии конфедеративных демократов, государственного советника и успешного бизнесмена. Торговля сырьём. Мог себе позволить жить по одному из самых дорогих адресов страны, на одной из улиц золотого побережья, которые на первый взгляд даже не бросались в глаза, выглядели чуть ли не мелкобуржуазными, но лишь потому, что резиденции, которые прятались в обрамлении этих улиц, были повернуты к ним скромными боковыми флигелями, а роскошное основное здание и парк были деликатно скрыты за живой изгородью. Кто в Швейцарии показывает, чем он владеет, тот не настоящий богач. Моросани вывел на позднюю вечернюю прогулку свою собаку, далматинца, странно, что по прошествии стольких лет помнишь такие детали. Неподалёку от дома его сразил выстрел, всего один, прямо в грудь, и Моросани тотчас упал замертво. Никто не среагировал сразу, его соседи приняли выстрел за хлопок в зажигании двигателя, и только после того, как собачий лай никак не прекращался, кто-то вышел из своего дома с намерением поругаться из-за нарушения ночной тишины, он-то и обнару-

жил на тротуаре труп Моросани, труп и собаку, которая стояла над ним — над ним, а не рядом, тоже деталь, которая тогда впечаталась в память. История многократно пересказывалась, в газетах, по телевидению, а потом вслед за этим и в предвыборной пропаганде. Вайлеман даже помнил плакат с лужей крови, не оригинальное фото с места преступления, естественно, а постановочное, но своё действие оно возымело.

Убийца был эритреец, соискатель статуса беженца с уже полученным отказом, справедливым отказом, как потом оказалось, сугубо экономический беженец, которому на родине вообще ничто не угрожало. Уже было готово распоряжение о его выдворении из страны, в этом и предполагался мотив убийства: месть конфедеративным демократам, которые всегда выступали за ужесточение политики в отношении беженцев. То, что пострадал именно Моросани, было опять же почти иронией, поскольку внутри партии он в то время подвергался критике за свою чересчур либеральную позицию в вопросе иностранцев, ходили даже слухи о подготовке мятежа против него на очередном съезде. Как же звали того эритрейца? Вайлеман не мог вспомнить фамилию, помнил лишь, что имя носило какое-то смысловое значение, как, например, Феликс означает «счастливый», а сам он, Курт — «смелый».

Полиция явилась на место преступления большим нарядом, не то что вчера к Дерендингеру. Хотя в то время кон-

федеративные демократы ещё не имели такого веса, как сегодня, Моро-сани был важным человеком. Преступник пытался скрыться и на бегу открыл огонь по служивым и был тотчас застрелен. Поэтому судебного процесса не понадобилось, факты были ясны, в кармане преступника было найдено орудие убийства. Правда, другой соискатель статуса беженца позднее дал показания, что убийца якобы рассказывал ему: мол, какой-то незнакомец вызвал его в Цолликон – и он не знал, с какой целью. Может, речь шла о помощи с его заявкой на статус беженца, но в эту историю никто не верил, разумеется, слишком однозначным был отказ в ходатайстве и распоряжение о выдворении из страны. «Документально подтверждённый преступник», так это называлось у конфедеративных демократов, рекламно-технически правильно подобранное слово, потому что, с одной стороны, оно не было лживым, а с другой стороны, внушало, что у преступника длинный список судимостей, и он всегда был злонамеренным. Как же его звали, того эритрейца?

В каком-то из наносных слоёв газетных вырезок на его письменном столе наверняка отыскалась бы статья на эту тему, но когда ответ требовался срочно, интернет всё-таки был сподручнее.

Бисрат Хабеша его звали.

Вайлеман уже давно встал, повелев кроватному механизму катапультировать себя, и теперь сидел в пижаме за письменным столом.

Бисрат Хабеша. В тот момент, когда он увидел это имя на экране компьютера, всё воспоминание целиком восстановилось, ведь конфедеративные демократы тогда громогласно трубили о случившемся, на всех плакатах и во всех газетах. Имя Бисрат означало «благую весть», тоже ирония, поскольку в избирательной рекламе они использовали его как символ всяческого зла, угрозы Швейцарии, исходящей от нежелательных мигрантов, от людей, которые и не думали придерживаться наших законов и не останавливались даже перед убийством. Панихида по Моросани в переполненном Гросмюнстере превратилась в демонстрацию на эту тему, получился не столько поминальный обряд, сколько партийное мероприятие. Компьютер выдал множество картинок, венки из красных и белых цветов, и гроб, покрытый флагом Швейцарии. Воля тогда держал основную речь, очень эмоциональную, с трудом доведя её до конца, потому что его то и дело душили слёзы. Воля тогда был перспективным политиком, питомцем Моросани, и вот теперь он сам лежал тяжело больной в университетской больнице, и только аппараты поддерживали его жизнь.

Возникла неприятная мысль, что Воля сейчас такой же старый, как и сам Вайлеман.

Конфедеративные демократы тогда одержали победу на выборах, не только из-за убийства Моросани, но и из-за него тоже. То есть тогда был не просто криминальный случай, а нечто большее, гораздо большее, можно сказать: то был мо-

мент, когда в Швейцарии окончательно изменилось настроение. И Воля тогда очень скоро стал президентом партии, впоследствии пожизненным. «Воля народа». Этот оборот им не пришлось внедрять в массы, настолько он был естественным.

Если Дерендингер имел в виду эту старую историю – а он не мог иметь в виду ничто другое, иначе не говорил бы про «Цолликон», «Альте Ландштрассе» и что «Это было во всех газетах», – если дело действительно было в убийстве Моро-сани, тогда, может, это и было той большой историей, о работе над которой он говорил на встрече ветеранов. Тогда ему никто по-настоящему не поверил, но всё было возможно: может, Дерендингер, вопреки всему, что уже было об этом написано, открыл ещё одну деталь – может, о прошлом того Хабеша, или...

Или он просто впал в старческое слабоумие. Поиски Вайлемана в интернете показали, что Дерендингер получил свою первую журналистскую премию за материалы как раз об этом случае, так что было вполне возможно, что в своей путаной стариковской голове он переместился в то счастливое время; в мечты о том, как ещё раз в качестве выдающегося репортёра осуществить большой замысел, воображал себе геройскую историю, в которой сам играл главную роль. Это объяснило бы весь тот обезьяний театр, который он устроил вчера, со «встретимся на Линденхофе», и сделал вид, будто стал теперь папой римским в шахматах, вся эта деланная та-

инственность. В триллерах про шпионов, где тайные агенты опознавались всегда по абсурдным фразам, они всегда вещали такие же прорицания оракула, «чёрным был мат, ещё до первого хода белых», ведь в этом действительно не было никакого смысла.

Это не содержало смысла. Автоматический голос корректора в его мозгу не успокоится, пожалуй, и на смертном одре. «Последний вздох» – всего лишь штамп, так он наверняка подумает в тот самый момент, когда будет этот последний вздох делать.

Но не важно, как это сформулировать: логически следовало принять, что устами Дерендингера вещал неумолимый Алоиз. Бритва Оккама: брать простые гипотезы, а не сложные. Дерендингер, должно быть, вспомнил о своём журналистском триумфе, а остальное дофантазировал. Прежде всего потому, что он называл какого-то Лойхли, который в его фантазиях играл, должно быть, важную роль, но это имя в связи с убийством Моросани нигде не всплывало, абсолютно нигде, а ведь Гугл его бы совершенно определённо выдал, даже если бы он был всего лишь ветеринаром далматинца Моросани. Запрос *Лойхли И Моросани* не дал ни одного результата.

Нет, не было никакого смысла в том, чтобы Вайлеман среди ночи бился над фантазиями слабоумного старика, не было смысла даже с учётом его несчастного случая со смертельным исходом; ничего, кроме простуды, он себе этим не на-

живёт. Лучше бы ему снова вернуться в постель, хотя он – судя по опыту – пролежит теперь несколько часов без сна; голову не так просто переключить в режим сна, как компьютер. А не поможет ли ему заснуть ещё один стаканчик кальвадоса из Тургау? Лучше нет, у него и так уже пересохло во рту.

Часы на церковной башне пробили четыре. Странно, как иногда развиваются события то в одну сторону, то в другую: сперва ночные звуки были запрещены в больших городах, потому что жители жаловались на нарушение покоя, а теперь они не только снова были разрешены, но даже предписывались: ради соблюдения традиций. Вайлеман потом ещё прослушал, как часы отбивали четверть пятого, половину пятого и без четверти пять, и когда на следующее утро он проснулся, совершенно не отдохнувший, его голова так и не ответила на один-единственный вопрос: не важно, был ли, не был ли Дерендингер свихнувшимся, но вот как ему удалось рухнуть с Линденхофа вниз так, что этого никто не заметил?

Производственная экскурсия в доме престарелых, вот как это выглядело, жалкая кучка отставных журналистов, собравшаяся на панихиду по Дерендингеру. Будь крематорий совсем рядом с кладбищем Нордхайм, прямо там бы и встречались и сообща могли бы ждать, когда дойдёт очередь до тебя. Долго ждать уже никому не придётся, думал Вайлеман, сам он был ещё самый живой из всех, но так, наверное, думал про себя каждый. Здоровались с обычными любезностями, и каждый из коллег, знавших его, поздравлял его с некрологом, который всё-таки был опубликован, хотя и на день позже, чем было запланировано. Compliments подтверждали две вещи: первое, что все они были никудышными журналистами, потому что никто не заметил, что в истории самоубийства Дерендингера многое не сходится. И второе: их льстивые речи показывали, что притворщики не вымрут никогда. Некролог не был хорошим текстом, да и чего можно ждать от тысячи знаков? Разговоры велись тихо, как будто не хотели нарушить покой мёртвых, следовавших здесь один за другим с интервалом в один час. Вайлеману бросилось в глаза, что все, кроме него, прикололи себе значки с гербом своего кантона; Пфеннингер, которого он знал ещё по работе в *Тагес Анцайгер*, носил, невзирая на свою немецко-швейцарскую фамилию, герб Тессина. На самом деле сказать друг



другу им было нечего, и разговоры скоро заглохли. И все сидели молчком, первые два ряда стульев оставались занятыми, и только двое стариков уселись рядом, остальные оставляли между собой одно-два пустых места, можно было подумать, что старческие недуги заразны. «Старческим недугам» можно было дать и другое определение, думал Вайлеман, и назвать их «старческими литаниями».

Это называлось «панихида в зале 2», но в обозначении «зал» для помещения, в котором они собрались, просматривалась мания величия, оно было не больше школьного класса. Декор был выдержан в компромиссном стиле, а вернее сказать, ни рыба ни мясо, поправил его встроенный детектор дерьма, ни традиции, ни модерна. Видимо, сказали архитекторам, что всё должно иметь христианский вид, но быть при этом религиозно-нейтральным, и тогда им пришлось в голову решение – витраж с мотивом солнца, который в плохую погоду казался не столь утешительным, как это было задумано. Почему, собственно, на похоронах так часто бывает дождливо, причём не только в телевизионных фильмах, там-то разумеется, но и в действительности? Передняя часть помещения была отгорожена барьером, и за ним, немного смещённая в сторону, стояла странно закруглённая трибуна, похожая на кафедру, которая решила отлучиться от церкви.

Они ждали не так уж долго, но в таких ситуациях и пять минут кажутся вечностью. Наконец дверь позади трибуны открылась, и вошёл мужчина в тёмном костюме, в своей тор-

жественной обыкновенности, казалось, спроектированный теми же архитекторами, что и вся обстановка: поп в гражданском. С тех пор, как началась нехватка пополнения священнослужителей, город стал поставлять для панихид этих людей, так же, как власти предоставляют человеку водителя с катафалком. «Поминальный ведущий» – так это называется у них в ЗАГСе. В течение нескольких лет церковные общины возмещали нехватку пополнения импортными священнослужителями, индийцами или африканцами, но это не годилось, герб кантона на лацкане стал важнее духовной семинарии.

Служащий встал за пульт и что-то там искал – Вайлеману с его места не было видно, что именно, – потом достал из кармана бумажку и смотрел в неё – должно быть, у него был записан порядок действий. Потом он склонился над пультом так низко, что стала видна его круглая лысина. Наконец он нашёл искомое и что-то включил. Послышалось металлическое дребезжанье, как от неисправного механизма, стрёкот, который становился всё громче, пока мужчина наконец не отыскал другой выключатель, и скрипичная сюита Баха перекрыла шум. В полу рядом с кафедрой раскрылась створка, и гроб на некой каталке поднялся вверх, с небольшим рывком остановился, на покрывале одинокий, не слишком пышный букет цветов с сине-белой лентой. В последние годы Вайлеман принимал участие во многих похоронах коллег и сразу опознал её: то был нормированный последний при-

вет цюрихского объединения прессы. В стареющем составе членов уже давно недоставало средств на венки.

Мужчина за кафедрой хотел приглушить музыку, но сделал это так неловко, что мелодия резко оборвалась посреди каденции.

– Извините, – сказал он, и его голос с лёгкой реверберацией донёсся из громкоговорителей, – прошу прощения. Я тут на подмене. Так-то я на регистрации браков.

В это мгновение позади всех сидящих открылась дверь, через которую они вошли сюда, и все присутствующие как по команде обернулись к вошедшей, которая совсем не подходила к остальному сообществу скорбящих. «Сообщество скорбящих» – не то слово, поправил Вайлеман свои мысли, это было не сообщество, да и особенно скорбящим никто не выглядел, вид был скорее усталым. Женщина – лет тридцати, на его взгляд, но, может, и старше – ничуть не смутилась всеобщим вниманием, даже не приняла его к сведению. Она прошла по короткому проходу между рядами стульев так самоуверенно, как кинозвезда прошла бы сквозь заполненный ресторан к заказанному столику, не замечая перешёптывания и взглядов со всех сторон. Рыжие волосы. Она на ходу сняла плащ, под которым оказалась юбка, коротковатая для такого повода, но, возможно, теперь так носят, Вайлеман в этом не разбирался. Когда она проходила мимо его ряда – он на таких мероприятиях старался сесть подальше, оттуда лучше наблюдать за происходящим, – ему показалось, что на

него пахнуло облаком тяжёлого парфюма. Пачули, пронеслось у него в голове, хотя он не знал ни что это такое, ни как это пахнет. Женщина села в самом первом ряду и кивнула ведущему, как будто в её задачу входило подать ему сигнал к началу.

Родственница? Может, племянница. В таком случае надо будет выразить ей соболезнование.

Мужчина из ЗАГСа держал слишком длинную речь, всё время улыбаясь – видимо, по привычке, как на церемонии бракосочетания. Вайлеман коротал время тем, что предугадывал следующий штамп и давал себе балл за каждое попадание. Было тут, разумеется, и «незабвенный», и «будет жить в наших сердцах». Особенно смешно было то, что ведущий, так многословно превознося Дерендингера, постоянно забывал его фамилию и заглядывал в бумажку. В заключение, видимо, по привычке процедуры бракосочетаний, он прочёл стихотворение, в котором «вместе надо жизнь прожить» рифмовалось со «смех и слёзы на пути», да и в остальном эти стихотворные стопы спотыкались. Наконец всё это осталось позади.

Мужчина ещё раз нагнулся над пультом и на сей раз попал на нужные кнопки. На фронтальной стене две половинки двери разъехались в стороны, освободив проход, через который гроб медленно выехал наружу по утопленным в пол рельсам, навстречу сожжению, под звучание *Канона ре-мажор* Пахельбеля, только в фортепьянном исполнении, как

видно, остальные инструменты пали жертвой мер городской экономии. Когда музыка отзвучала, ведущий с облегчением вздохнул, но забыл перед этим выключить микрофон, так что от сверхгромкого шороха присутствующие испуганно вздрогнули. Он сказал: «Извините» и ретировался через дверку за кафедрой, вероятно, радуясь возвращению к своим привычным бракосочетаниям.

Рыжеволосая женщина, кажется, всё-таки не имела отношения к семье Дерендингера. Она не осталась принимать соболезнования, а быстрой походкой двинулась к выходу, когда другие даже ещё не поднялись с мест. Надо будет посмотреть, что же такое пачули, подумал Вайлеман.

На поминки или хотя бы на круговую чарку после панихиды не приглашали, да и кто пригласит, а в окрестностях крематория и негде было собраться пенсионерам-завсегдатаям. Да если бы и было где, Вайлеман бы не пошёл. При разговорах в таких компаниях, где все уверяют друг друга, как плохо нынче обстоят дела с журналистикой и насколько лучше сделали бы всё они сами; где преувеличенно смеются над давними событиями, которые и тогда не были смешными; при всём этом полумёртвом оживлении тебе ещё неприятнее осознавать, как ты постарел. Пока другие расходились, разговаривая громче, чем до панихиды, он оставался сидеть, опустив голову. Пусть принимают за скорбь то, что в действительности было попыткой избавиться себя от стыда. Он не хотел, чтобы после долгого сидения кто-нибудь видел, с ка-

ким трудом он поднимается с места, потому что его тазобедренный сустав опять ему отказал. Доктор Ребзамен советовал ему ходить с тростью, но с нею Вайлеман сам себе казался бы собственным дедушкой.

Когда потом кто-то около него остановился, ему поневоле пришлось поднять голову. То был ведущий панихиды.

– Извините, пожалуйста, – сказал он, – но вам придётся уйти. Сейчас начнётся следующая панихида.

В настоящей церкви подняться было бы проще, там можно было бы ухватиться за переднюю скамью, но Вайлеман справился и так.

– Хорошо, что я вас увидел, – сказал он ведущему. – Я хотел бы у вас спросить.

– Да?

– Стихотворение, которое вы читали, чьё оно?

Мужчина покраснел.

– Моё, – сказал он, застенчиво отводя взгляд. – Стихи – моё хобби.

– Хорошо. Очень хорошо. Кстати, слово «Rhythmus» пишется с двумя h.

– Разумеется. А почему вдруг...

– У меня сложилось впечатление, что вы никогда не слышали это слово.

То была дешёвая победа над безоружным противником, намного ниже достоинства Вайлемана, но время от времени это приносило облегчение – нанести такой вербальный укол

и тем самым доказать себе, что ты ещё не совсем разучился играть с языком. Единственным, что испортило эффект, было мучительное отступление к двери. Раньше бы он после такой остроты развернулся и бодро зашагал прочь, но ведь раньше каждый шаг не причинял ему такой боли.

На улице его поджидала женщина из первого ряда. Дождь кончился, и внезапная яркость дня ослепила его так, что он опознал её только по аромату пачули – если это вообще называлось именно так.

– Вы, должно быть, Курт Вайлеман, – сказала она. – Феликс очень хорошо описал мне вас.

Он не сразу сообразил, что она имела в виду Дерендингера.

– Вы его родственница?

– Мы были знакомы.

– И он описал вам меня?

– Он говорил, вы единственный, кого не пришлось бы лишать журналистского удостоверения за бездарность.

Типичное выражение Дерендингера. Таким он был всегда: даже если он хотел сказать комплимент, он делал это в грубой форме.

– Я польщён, – сказал Вайлеман.

– Ничего вы не польщены. Вы немного задеты, но не хотите это показать.

У секретарши шеф-редакции тогда – её фамилию он сейчас не мог вспомнить – был в точности такой же тон.

– И вы поджидали меня, чтобы мне это передать?

– Я поджидала вас, потому что мне нужно с вами кое-что обсудить. Давайте посидим за бокалом вина?

– Где? Здесь поблизости и даже дальше нет ничего...

– Вон там стоит моя машина, – перебила его женщина. – А вино у меня уже отстаивается. Если вы не против выпить его со мной у меня дома? Там мы поговорим без помех.



Пока они ехали, она тыкала пальцами в свой коммуникатор. Наверняка новейшая модель; она была из тех, у кого подобные приборы всегда новейшей модели. Вайлеман был рад, что ему не приходится вести светскую беседу, он чувствовал себя не очень хорошо в этом автомобиле, который для него всё ещё был новомодным, хотя в Цюрихе вряд ли ещё водились прежние. Всякий раз, когда они вплотную приближались к впереди идущему автомобилю, он машинально искал, за что бы ухватиться. Рассудком он понимал, что система функционирует превосходно и не допустит столкновения, по крайней мере в городе и на автобанах – до просёлочных шоссе сеть электронного ориентирования так и не дошла по финансовым причинам, – однажды он даже написал статью про избыточность тройной системы безопасности, но в его организме всё ещё работали старые рефлексy. Если бы он мог позволить себе машину, это был бы старый самоходный рыдван, хотя налоги на него были выше, а в случае аварии не было страховых выплат.

Движение было плотное, как, впрочем, и всегда, но – он должен был это признать – рассасывалось оно быстрее, чем раньше, и встраивание с боковых улиц шло лучше. И всё-таки: сидящий в таком автомобиле уже не ехал, а лишь транспортировался, как почтовая посылка в одной из тех гигант-

ских сортировочных машин, какую он осматривал однажды в Мюллигене для одного репортажа. Тобой просто манипулировали.

Окей, он сам позволил манипулировать собой, принял приглашение, не спрашивая, что с ним собираются обсудить, не спросил даже её имени. Неужто это было просто любопытство? Или это было связано с тем, что она была привлекательная женщина, чертовски привлекательная женщина? Бывают и более дурацкие причины, подумал он.

– Это пачули? – Только когда она изумлённо оторвалась от своего комми, он сообразил, что произнёс это вслух. Когда подолгу составляешь компанию лишь самому себе, в какой-то момент уже не замечаешь, что говоришь с собой вслух.

Женщина засмеялась каким-то горловым смехом, это звучало как воркование птицы.

– Что-что?

– Ваш парфюм. Это пачули?

– Очень сильный аромат, правда? Мне самой он вообще не нравится. Но Феликс так его любил.

– Дерендингер?

Она кивнула:

– Этот парфюм привёз мне однажды он. Вот я и подумала: на его панихиде... В какой-то степени из пиетета.

– Он покупал вам духи? – Этот вопрос, он заметил это лишь после того, как уже задал его, звучал невежливо; как

будто он хотел этим сказать, что она не та женщина, которой кто-то подарил бы духи.

– Вас это удивляет?

– Я хотел сказать... он не был похож на человека, который разбирается в таких вещах.

И снова этот воркующий смех.

– Вы явно знали его не очень хорошо. А знаете, где пачули любили больше всего?

– Где?

– В борделях. Но потом этот аромат вышел из моды. Он очень назойлив. Когда мужчина возвращался домой, его жена и несколько часов спустя могла учуять, где он был. – Она говорила об этом так естественно, как будто было самым обычным делом беседовать о таких вещах с мужчиной, едва с ним познакомившись. – Кстати...

– Да?

– Пачули пахнут иначе. Более по-восточному. Если хотите, я дам вам их потом понюхать.

– С удовольствием, – сказал Вайлеман, но оттого, что это прозвучало слишком пылко, он добавил: – Ведь это, наверное, очень интересно.

Она опять засмеялась. Над ним? Что же было в этой женщине такого, что делало его таким нервным?

– Надеюсь, вас не смущает, что я предпочитаю беседовать у меня дома. В публичных местах никогда не знаешь, кто тебя слышит.

– У вас есть тайны? – Это должно было прозвучать как шутка, но она, кажется, приняла её всерьёз.

– Время покажет, – сказала она. – Так или иначе: незачем каждому знать, что нам с вами вообще есть что обсудить. И при всех этих видеокамерах...

– Не такие уж мы интересные люди.

– Это тоже ещё надо посмотреть.

– И даже если – ведь и на вашей улице тоже наверняка есть камеры.

– Это совсем другое, – сказала она. – Если увидят, что вы входите ко мне, они подумают, что вы мой клиент.

Она не объяснила, какого рода клиентуру она имела в виду, а он не переспросил.

Её квартира находилась в районе, о каком он мог только мечтать, не на самом верху холма миллионеров Цюриха, но всё-таки уже в районе, где арендная плата повышается пропорционально каждому метру над уровнем моря.

– Устраивайтесь поудобнее, – сказала она. – Я только хочу поскорее смыть с себя эти духи.

Гостиная, в которую она его провела, была обставлена старомодно. Он бы сказал, времён смены тысячелетия. Меблировка не подходила к образу, какой он составил о ней, он-то ожидал самого новейшего дизайна, например, тех кресел, которые самостоятельно измеряют вес и рост своего пользователя и автоматически подстраиваются к идеальной позиции, а на стене ожидал увидеть, скажем, одну из этих элек-

тронных рам, которые можно взять напрокат в Художественном музее, а в раму «вставить» любую картину из коллекции музея. Вместо этого – алюминий и чёрная кожа, как будто он в гостях у какой-то старой дамы. На низеньком стеклянном столике стояли наготове два бокала для вина. Она не сомневалась, что он примет её приглашение.

Был даже небольшой книжный стеллаж. Раньше, придя в чужой дом, он первым делом изучал корешки книг, они позволяли сделать множество выводов об интересах их владельцев, а когда теперь, что случается достаточно редко, его куда-то приглашают, там в большинстве случаев больше не стоят книги, а ведь у людей не попросишь позволения быстро заглянуть в их читалки. Здесь были сплошь романы, при этом ничего современного, всё немного запylённое; у букинистов в отделе *XX век* тоже не нашлось бы ничего другого. Единственной неожиданностью было зачитанное издание в мягкой обложке с роковой картинкой: в конусе света уличного фонаря – как будто ещё где-то сохранились такие уличные фонари, кроме как на ностальгическом Латернли-вег на Утлиберге, – лежал в луже крови убитый мужчина. *Нож в спине*, гласило название книги, автор был некто Цезарь Лаукман, имени которого он никогда не слышал.

Поскольку женщина ещё не вернулась из ванной, он пробежал глазами первые несколько страниц: молодой путник обнаруживает труп, зарытый под осенней листвой – его повреждения были описаны в самых кровавых подробностях, –

и прибывшая по вызову женщина-полицейская оказалась так шаблонно одарена крутыми изгибами фигуры, что без особого напряжения можно было предугадать, как через двести пятьдесят страниц будет выглядеть хэппи энд между этими двумя. Тотальная макулатура. Надо будет потом спросить, каким образом такая поделка могла затесаться среди *Назову себя Гантенбайн* и *Как госпожа Блюм хотела познакомиться с молочником*.

– Это подарок Дерендингера.

Он не мог бы сказать, как долго она уже стояла в дверях и наблюдала за ним, держа в руках графин с красным вином. Теперь на ней была не короткая юбка, а длинный белый купальный халат, как будто она шла в сауну или в какое-то другое место, где главное было не в элегантности. Рыжие волосы она собрала в конский хвост. Она выглядела моложе, чем до этого, нет, на самом деле не моложе, но иначе, по-девчоночьи.

– Я откупорила для нас Сент-Амур, – сказала она. – Ничего слишком тяжёлого, подумала я, ведь ещё день на дворе. За это время он, должно быть, хорошо оттемперировался.

Давно уже он не пил такого хорошего вина. С его бюджетом ему хватало в основном только на вино с косовских виноградников.

Она отставила свой бокал, почти ничего не отпив.

– Я полагаю, вы хотите знать, для чего я вас пригласила. Было много такого, чего ему хотелось бы знать о ней.

– Откуда вы знаете Дерендингера?

– Он был моим клиентом.

– Каким клиентом?

– Я специализируюсь на пожилых мужчинах, – сказала она. – Поэтому здесь такая старомодная обстановка. Чтобы они сразу чувствовали себя как дома. Я секс-терапевт.

Наверное, лицо у него вышло очень глупое, потому что она снова рассмеялась.

– При моей профессии приходится говорить околичностями, вокруг да около, – объяснила она. – Хотя никому не мешает, что она есть, но в налоговой декларации она должна называться как-то по-другому. Сто лет назад я бы, наверное, действительно пользовалась ароматом пачули.

Вайлеман по случаю панихиды повязал галстук, и теперь он показался ему слишком тесным. Естественность, с какой она это сказала, сбивала его с толку.

– И Дерендингер был...

– Он откликнулся на объявление в интернете. Почему нет? И в его возрасте тоже есть потребности. А как с этим у вас?

Вайлеман всегда гордился тем, что его не так легко смутить и сбить с толку. Но с этим вопросом он вообще не знал, как обойтись.

– Мы непременно должны об этом говорить?

– У меня никто ничего не должен. Поэтому Феликс так хорошо себя здесь чувствовал. Со временем мы подружились.

Он был интересным человеком, Феликс. – Она провела указательным пальцем по краю бокала. – Вы после его смерти уже были на Шипфе?

– Нет. А зачем?

– Я была там сегодня утром. Очень интересно, если посмотреть снизу. Я действительно хорошо знала Феликса, но в такое его достижение я не могу поверить.

– Какое достижение?

– Если он действительно бросился с Линденхофа на Шипфе, ему пришлось бы совершить прыжок с места на пару метров в длину. Иначе бы он застрял в кустах. Вы не задумывались над этим, господин Вайлеман?



Разумеется, он об этом задумывался. И сразу же отодвигал все свои соображения как можно дальше. Лет двадцать назад – да что там, ещё и десять лет назад одного этого несоответствия хватило бы для того, чтобы он пустился в погоню; как собака на свежую кость он ринулся бы на такую историю и обгладывал бы её до тех пор, пока не останется одна правда, но беззубый дворовый пёс научился довольствоваться маленьким кусочком, который ему милостиво кинут. Если здесь и была история – разумеется, здесь была история! – то она была слишком большой для старика. Время от времени некролог, тысяча знаков, включая пробелы, большего ему не полагалось.

И вот явилась эта женщина и поднесла кость ему прямо под нос.

– Если... – сказал Вайлеман и отпрянул от остатка фразы, как лошадь от слишком высокого препятствия. – Если...

«Если вы действительно в это верите, – хотел он сказать, – почему вы не обратились в полицию?» Но не следует задавать вопросы, на которые уже знаешь ответ, даже если от этого ответа становится не по себе, очень даже не по себе, даже если лучше бы стёр его, устранил саму мысль. Никто ничего не видел, как значится в официальных отчётах, любого свидетеля они отсекли бы – как и он сам – как ненадёжного, но

этот свидетель просто был невозможен, что бы там на самом деле ни произошло, ни среди бела дня, ни при большом стечении народа. Если полиция утверждала, что у них нет ни малейшего следа, это могло означать только то, что они не хотели иметь этот след, что где-то наверху по каким-то причинам решено ничего не расследовать. Или хуже того: что-то знали, даже точно знали, но сами – активно или пассивно – были вовлечены в историю и поэтому хотели держать её под замком. И если всё так, было бы самой большой ошибкой допытываться именно там.

– То-то и оно, – сказала рыжеволосая женщина, и Вайлеман не знал, то ли он сам невзначай высказал мысль вслух, то ли она прочитала его размышления по лицу; в такой профессии, как у неё, надо признать, чутьё тренируется хорошо.

– Нам надо перейти на ты, – сказала она. – Я на ты со всеми своими клиентами. И хотя ты не клиент – на случай, если нас кто-то подслушает, это будет звучать убедительнее.

Она, конечно, была права. Если полиция замешана в смерти Дерендингера, то вполне допустимо, что частные разговоры прослушиваются, даже если в служебных заявлениях всякий раз подчёркивается, что они этого никогда не делают. Именно потому, что это постоянно подчёркивается.

– Меня зовут Курт, – сказал он.

– А меня Элиза. Как девушку из *Моей прекрасной леди*. Пожилой господин формирует молодую женщину по своим представлениям. Я нахожу это подходящим для моего ре-

месла.

– Но на самом деле тебя зовут иначе?

– Да, – сказала она. – На самом деле меня зовут иначе. Как меня называл и Феликс. Но для этого мы с тобой ещё не настолько сблизились.

Обычно при переходе на ты чокаются, бокалы с вином стояли и здесь, но традиционные жесты казались ему неуместными в этой ситуации, если учитывать тему, которую они обсуждали.

Элиза сказала именно то, о чём Вайлеман уже и сам думал, но её при этом не устрашал тот вывод, что Дерендингера, судя по всему, убили. У неё не было доказательств её теории, у неё не было ни малейшего доказательства, и как раз это полное отсутствие улик, в этом Вайлеману нечего было возразить, и делало подозрение правдоподобным. В конце концов, ведь они в Швейцарии, в стране, где ничто не превозносится так, как безопасность, а безопасность достигается через постоянное наблюдение, как внутри, так и снаружи. Только за последнюю неделю шестеро депутатов федерального совета выступали перед прессой, чтобы объяснить, почему необходимо ужесточение пограничного контроля, что есть указания на запланированные теракты, и ничего другого не остаётся. Швейцария была перманентно поднадзорным обществом, как раз потому, что при малейшей возможности подчёркивалась личная ответственность граждан, все заглядывали в окна друг к другу, и уже дети в школе наизусть зна-

ли номер телефона, по которому можно позвонить, если что-то покажется подозрительным или просто необычным. Государство ощущало себя заботливым отцом семейства, который следит за тем, чтобы никто из его детей не крал у другого жвачку, следит ради общего блага, о чём всегда охотно говорится в каждой торжественной речи по случаю празднования Первого августа. И в этом обществе людей, которые не делают ничего запретного и потому не могут иметь ничего против того, чтобы за ними кто-то присматривал, в этом обществе оказывается возможным, чтобы человек лишился жизни – тем или иным способом – и никто бы этого не заметил?

– Почему?..

И опять она ответила на вопрос прежде, чем он довёл его до конца.

– Почему я говорю об этом с тобой, а не с кем-то ещё? Потому что кто-то должен докопаться до основания дела. А Феликс говорил, что не знает лучшего дознавателя, чем ты.

– Дела давно минувших дней.

– Есть вещи, которым не разучишься.

– Посади меня сейчас на велосипед – и я упаду.

– Может, и стоило бы посадить. – Она подлила ему вина уверенным движением хозяйки. И потом, не выпуская графина из рук, сказала: – Расскажи мне про случай Ханджина!

Это требование грянуло громом с ясного неба, и поначалу он отрекся: мол, всё это старые песни, это было так

давно, что уже перестало быть правдой, да и не время сейчас, ведь речь идёт о Дерендингере.

– Вот как раз поэтому, – сказала она.

Ханджин... Естественно, он всё же рассказал ей эту историю. Его уже давно о ней никто не спрашивал, а ведь дело действительно было особое, вершина его журналистской карьеры. Ханджин, сотрудник банка, не из крупных банкиров, которые тогда набивали себе карманы, а из среднего персонала, не особо симпатичный человек, но и не то чтобы несимпатичный, этого он не сказал бы, но не тот, с кем поехал бы в отпуск, педантичный делец, который – «И это не шутка!» – всегда по субботам готовил себе галстуки на всю неделю, это, собственно, исчерпывающе его характеризует, Ханджин состоял в бездетном браке, и его жена, которая поначалу казалась жертвой, а потом оказалась преступницей, во всяком случае подстрекательницей, вообще ему не подходила, нельзя было себе представить, как они могут ладить, он – скоросшиватель для документов, а она – он отнюдь не хочет сказать ничего враждебного по отношению к женщинам, но если бы такая отправилась ночью в бар, ей бы точно не пришлось платить за выпивку самой. Ханджин любил свою жену, говорил об этом на суде так часто, что с каждым повторением это становилось всё недостовернее, к тому же было много свидетелей тому, что они ссорились, не прилюдно, это было бы не похоже на сверхкорректного Ханджина, но любопытные люди водились и до того, как появился но-

мер телефона, по которому можно позвонить обо всем подозрительном, и госпожа Ханджин выплакивалась перед соседками, буквально выплакивалась, Ханджин потом пытался объяснить её красные глаза воспалением век, от которого его жена страдала наряду с проблемами давления крови.

– Я не хочу вдаваться во все подробности, – сказал Вайлеман, – в моём возрасте легко переходят с сотых на тысячные, а все эти вещи вовсе не были решающими.

Решающим было то, что нашли в банковском сейфе Ханджина. Но, перебивал себя Вайлеман, ведь он рассказывал историю задом наперёд, а такому опытному журналисту, как он, это непозволительно, даже если ты уже давно превратился в старое железо. В правильной же последовательности событий дело было так: Ханджин однажды пришёл домой позже, чем всегда, что было необычно для такого заорганизованного человека; аккумулятор его машины разрядился, и ему пришлось ждать на станции техобслуживания. Он пытался предупредить жену по телефону о своём опоздании, говорил он на суде, но не мог до неё дозвониться и решил, что она вышла – в кино, может быть. Она часто ходила в кино одна; им нравились совершенно разные фильмы. Когда он, наконец, вернулся домой, уже после девяти вместо обычных семи, она лежала в гостиной на полу, без сознания и едва дышала. Он сразу позвонил в скорую помощь, её увезли в больницу, где в последнюю минуту вернули её к жизни. Прележи она ещё немного, сказал медицинский эксперт, и

она бы умерла.

— В судебном процессе и во всех этих вещах я вообще ничего не понимал. Тогда ещё не понимал. Меня послали на суд, потому что наша судебная репортёрша по какой-то причине отсутствовала. Тогда газеты ещё могли себе позволить специалиста для каждой области, судебного репортёра, научного редактора и литературного критика, тогда как сегодня каждый считает, что может всё, изображает из себя доктора Всезнайку со всей своей нагугленной мудростью, и при этом... Извини, ведь это тебе не интересно.

Она ничего на это не сказала, лишь улыбкой или кивком перебивая его монолог, который он когда-то повторял довольно часто, но эти маленькие жесты оказывали своё действие так хорошо, как будто она выставляла стоп-сигнал. Вайлеман поймал себя на мысли, что, может, было бы не так уж плохо не только разыгрывать из себя её клиента, но быстро запил это представление глотком Сент-Амура. В надежде, что эту мысль она не успела считать с его лица.

В больнице, продолжал он свой рассказ, в крови госпожи Хан-джин обнаружили следы высокоэффективного бета-блокатора, средства, которое при её низком давлении ни в коем случае нельзя было принимать и про которое она божилась, что не принимала, совершенно точно не принимала, наоборот. Наоборот — это было средство для повышения давления, которое ей прописал врач, в день по одной капсуле, и она аккуратно исполняла это предписание. После

этого исследовали полупустую упаковку из шкафчика в их ванной, и оказалось, что не все, но несколько капсул были вскрыты, кто-то подменил их содержимое: средство, повышающее давление, подменили средством, понижающим его, в обоих случаях это были маленькие шарики. Технически это нетрудно было сделать, нужно было лишь разрезать гелевые капсулы тонким лезвием, а после замены содержимого снова склеить, и даже если результат окажется не вполне аккуратным, это ничего: кто же станет рассматривать капсулы, которые приходится принимать ежедневно. Бета-блокатор, который был причиной её обморока, понизил её давление ещё больше, и это экстремально низкое давление, продлившись оно чуть дольше, могло бы с большой вероятностью привести к остановке сердца. Ханджин, хотя он сам вызвал скорую помощь, был, разумеется, первым подозреваемым, ведь ванная была у них общая, хотя он клялся и божился, что не имеет к этому отношения, что любит свою жену и никогда бы не сделал ей ничего плохого. И нельзя было предъявить ему ничего доказательного, или нельзя было бы, если бы он в свою очередь не слёг больным, от волнений, видимо. Во время его отсутствия в банке искали какой-то договор или что-то вроде того, Вайлеман забыл, что именно, во всяком случае некий документ, который должен был лежать среди бумаг Ханджина, но на столе его не оказалось, и они там решили вскрыть его сейф. «Personal Locker» – так это называли в банке, они там сплошь применяли английские выра-



жения, это было в моде уже тогда. Маленький сейф-ячейка для каждого сотрудника, замок с комбинацией цифр, которую никто не знал, кроме владельца. Но в случае необходимости у руководства был единый мастер-код, и они вскрыли его шкафчик и нашли там не только искомый документ, но и упаковку бета-блокатора, в гелевых капсулах. В точности то средство, которое обнаружили в крови госпожи Ханджин. Попалась мышка.

Ханджин, разумеется, всё отрицал, но вину отрицает и виновный. Он говорил, что понятия не имеет, как эти капсулы попали в его ячейку, он ничем не может это объяснить, и документ, который они там искали, он туда не помещал, а аккуратно подшил в папку, где ему было место. Что, разумеется, никого не убедило, потому что, кроме него самого, никто не знал код ящика, и цепочка улик замкнулась: мотив, удобный случай, орудие убийства, и он был приговорён к максимальному сроку пять лет тюрьмы, создание угрозы жизни, статья 129, уголовный кодекс, параграф Вайлеман помнил до сих пор.

В заключительном слове Ханджин ещё раз уверял суд в своей невиновности, но апелляцию подавать не стал, ему бы и во второй инстанции не поверили так же, как и в первой, как он справедливо полагал. Он сел в тюрьму, где, кстати, был образцовым арестантом, придерживался всех правил, а его жена подала на развод.

– И потом обнаружилось, что это был вовсе не он?

– Нет, – сказал Вайлеман, – это не обнаружилось. До этого докопался я.

По мере рассказа Вайлеман всё больше воодушевлялся, то было тщеславие, или, если прибегнуть к более вежливому определению, профессиональная гордость. Не удивительно, что Дорис подала на развод, об этом он думал не впервые, должно быть, он доводил её до безумия своими историями, всегда одинаковыми. Элиза же наоборот слушала его зачарованно как маленькая девочка, которой читают сказку. Но, может, она только притворялась перед ним внимательной, уж в этом она поднаторела – позволять старикам рассказывать про их геройские подвиги и при этом изображать интерес. Губы её слегка приоткрылись, и был виден кончик языка. Красивый рот. Это у неё естественный цвет или такая сдержанная губная помада?

– Как ты до этого докопался?

Вайлеман, как видно, снова затерялся в своих мыслях посреди рассказа, и ему стало стыдно: это походило на старческое недержание в голове.

– По тому, как ты рассказываешь, ведь всё же было ясно, – сказала она. – Ханджин хотел избавиться от жены и для этого подсыпал ей не то лекарство. Однозначное покушение на убийство. Что навело тебя на мысль, что всё могло быть иначе?

– Была там одна деталь. Маленькая деталь. А именно... –

Он сделал паузу, на сей раз не потому, что отвлёкся, а потому что в этом месте история всегда требовала паузы, эффекта ради, и потом сказал: – Бумаги в ячейке Ханджина были продырявлены.

Казалось бы, совершенно бессмысленная фраза всякий раз оказывала действие, он намеренно формулировал её так, что слушатель не понял. С Элизой это сработало безупречно.

– Собственно, всё очень просто, – сказал он, – я потом даже удивлялся, что никто не дошёл до этого, уж по крайней мере адвокату Ханджина это должно было броситься в глаза.

Если документы пробиты дыроколом, таков был тогда ход его рассуждений, это означало, что они уже были подшиты в папку, и если Ханджин действительно «по недосмотру» положил их не туда, то перед этим, тоже «по недосмотру», ему пришлось бы сперва извлечь их из подшивки.

– Я не психолог, – сказал Вайлеман, – но такой двойной «недосмотр» просто не подходил к этому аккуратисту, который заранее выбирал себе галстуки на неделю вперёд. И тем более не подходил бы убийце, про которого в приговоре было сказано, что он тщательно продумал каждую деталь своего плана и хладнокровно осуществил его.

Но если показания Ханджина правдивы и он тщательно подшил документы, то вынуть их из подшивки и подложить в его ячейку должен был кто-то другой.

– Но ведь никто, кроме него, не знал код ячейки?

– Именно это и говорил Штэдели, мой тогдашний шеф в

*Тагес-Анцайгер*. Его уже давно нет на свете, как и его газеты. Я подал ему заявление, что хочу остаться на этом деле, эксклюзивно, и он мне категорически отказал: дескать, во-первых, это не мой отдел, во-вторых, такие детали по прошествии времени больше никому не интересны, дело решённое, приговор вынесен, конец всему, собака сдохла. И тогда мне пришлось всё делать на свой страх и риск...

– Это был какой-то важный документ?

А она умная женщина, подумал Вайлеман, задаёт правильные вопросы. Ведь это и было самое интересное в деле, такой Casus Knaxus, что исчезнувший и вновь обнаруженный документ был совершенно незначительным, настолько неинтересным, что Вайлеман даже не мог вспомнить, о чём шла речь. У Ханджина не было никаких видимых причин обойтись именно с этими двумя листиками иначе, чем с остальными бумагами, каждый день проходящими через его руки. Но шла текущая работа, кому-то понадобились эти бумажки, и, может быть, кто-то – если был этот кто-то – прибрал их только для того, чтобы их стали искать и в этих поисках открыли ячейку Ханджина. Но для чего?

– Чтобы обнаружить там бета-блокатор.

Вайлеман почувствовал, что быстрый ответ Элизы его почти раздосадовал. Не потому, что она была права, разумеется, она была права, а потому что темп, в каком она ответила, задним числом обесценивал его тогдашнюю дедукцию. Пора было действительно расставаться с этим проклятым тщесла-

вием.

– Это была возможная причина, верно. Но она ещё не отвечала на вопрос, как этому таинственному кое-кому удалось открыть шкафчик. Моя теория предполагала, что этого не могло быть. Разве что если...

На сей раз она не испортила ему драматическую паузу.

Такая банковская контора – это ведь не монастырская келья, в которой всегда находишься один, сюда заходили и другие люди, клиенты не так часто, но коллеги постоянно, и если один из них однажды видел, как Ханджин открывал свою ячейку... В банкоматах предостерегают, чтобы никто не видел код, который вы набираете, но в такой конторе этот пункт наверняка не соблюдался столь строго. Итак, Вайлеману пришлось поближе рассматривать коллег Ханджина, но это стало бы бесконечной историей, поиском иголки в стогу сена, особенно если не знаешь, иголку ты ищешь или что-то другое. Он тогда стал размышлять вот над чем: если кто-то подкинул бета-блокатор в ячейку Ханджина, чтобы обвинить его, тогда этот кто-то и наполнял капсулы подставным лекарством, что предполагало его осведомлённость о состоянии здоровья госпожи Хан-джин, то есть предполагало его знакомство с ней.

– И поэтому...

Вайлеман заметил, в нём снова разыгрывается тщеславие, но теперь оно было уже оправданным, чёрт побери, вообще-то тогда за серию статей он заслуживал журналистской

премии, но для этого надо было с членами жюри быть frère et coçon, а он всегда был бойцом-одиночкой, а не тем человеком, который подсаживается к каждому столу завсегдатаев, чтобы погладить по шёртске влиятельного коллегу.

– И поэтому? – повторила Элиза.

И поэтому он вместо банковских служащих присмотрелся к госпоже Ханджин, поиграл в детектива, с тайной слежкой и всем остальным, и это не было лёгкой добычей, она держалась неприметно, целый месяц, до того самого дня, на который у них, видимо, был уговор. Его звали Нефф, специалист по ипотеке, кабинет у него был в том же коридоре, что и у Ханджина. В фойе отеля, где они встретились, госпожа Ханджин прямо-таки набросилась на него, так наголодалась, другого слова Вайлеман подобрать не мог, она насилу дождалась, когда же сможет снова заключить любовника в объятия. То, что он её любовник, и уже давно, было очевидно; чтобы заметить это, не требовалось прятать видеокамеру в комнате отеля. Потом было уже не трудно доказать связь между ними; когда получаешь первый ответ, находишь и остальные. Соседка, которой он показал фотографию Неффа, припомнила, что видела их вдвоём. Госпожа Ханджин тогда сказала, что он её кузен. Но он был ей не кузен, а сообщник, замысливший с ней заговор против Ханджина, при этом запланировано было не так драматично, как потом осуществилось. То, что она при этом чуть не погибла, не было предусмотрено, она должна была впасть всего лишь в обмо-

рочное состояние, на это была рассчитана доза медикамента, но поскольку её обычно пунктуальный муж из-за автомобильной неполадки задержался, у бета-блокатора было два лишних часа, чтобы оказать своё действие. Собственно – когда история потом вскрылась, госпожа Ханджин во всём созналась и говорила как по-писаному, – всё было запланировано так, что она должна была сама обнаружить, что в капсулы кто-то вмешался, сама должна была сдать их в лабораторию для исследования, но так для обоих получилось даже гораздо лучше, полиция сама затребовала анализ средства, и ей оставалось лишь сыграть невинную супругу, которая никогда не заподозрила бы своего любимого мужа. На коробке с бета-блокаторами в ящике Ханджина нашлись отпечатки пальцев Неффа, раньше предполагали, что это отпечатки аптекаря, продавшего упаковку, и даже не искали дальше. Нефф получил средство совершенно законно, по рецепту, это оказалось потом легко установить, он выпил несколько настоящих капсул госпожи Ханджин, из-за этого сильно повысил у себя давление и попросил своего домашнего врача выписать ему бета-блокаторы как средство понижения давления. На допросе он поначалу всё отрицал, но потом дело дошло до той точки, когда оспаривать было уже нечего.

Вайлеман – теперь он окончательно дал волю своей похвальбе – получил свою сенсацию, свой большой куш, как это называлось. Штэдели велел ему написать статью в трёх частях, три раза по целой полосе, и ему пришлось также да-



вать огромное количество интервью, даже по телевизору, что в то время было ещё важно, не то что теперь. Приговор в отношении Ханджина был, конечно, отменён, и он вышел на свободу. Дело имело ещё странный эпилог, как всегда, трагедия сменяется фарсом: Ханджин по-прежнему любил свою жену, невзирая ни на что, и действительно верил, что она снова выйдет за него замуж, теперь, когда было доказано, что он совсем не пытался её погубить. То, что она, со своей стороны, повесила на него покушение на убийство и упекла его в тюрьму, он просто отфильтровал.

Вайлеман смеялся, как он всегда смеялся в конце этой истории, как будто абсурдность этой тупой влюблённости только сейчас бросилась ему в глаза, но Элиза не поделила его смех. Она кивнула, задумчиво, и потом сказала:

– Он был прав.

– Ханджин?

– Феликс. Когда говорил, что ты лучший дознаватель.

– Может, когда-то и был им. Теперь я ископаемое.

– Это хорошо, – сказала Элиза. – Ископаемые вне подозрений. Если кто и сможет разузнать, что в действительности произошло с Феликсом, так только ты.

Вайлеман заметил, как в нём шевельнулось то, что он уже давно считал отмершим: старый охотничий инстинкт, эти приятные мурашки по коже, которые он чувствовал всякий раз, когда пускался в погоню за какой-то историей. Не все эти истории были такими крупными, как случай Ханджина,

но поиском фактов он всегда наслаждался, особенно когда кто-то пытался замотать правду или совсем стереть её с лица земли. Это всякий раз было как игра – то, в чём он действительно был силён, ещё сильнее, чем в шахматах, это доставляло удовольствие – выиграть партию – но всё это было давно, пару сотен лет тому назад, так ему казалось, в то время, когда у него ещё было два здоровых тазобедренных сустава и ему не требовалась специальная кровать, чтобы иметь возможность спать. Теперь он был старик.

– Это верно, – сказала Элиза, и Вайлеман только теперь заметил, что опять высказал свои мысли вслух. – Это верно, – сказала она, – но поверь мне: постаревшие мужчины способны на большее, чем сами полагают. При моей профессии в этом разбираешься.

– Но не могу же я...

– Можешь, – сказала Элиза. – В этом и Феликс был убеждён. Он мне не раз говорил: «Если со мной что-то случится, то поговори с Вайлеманом».

– Он ждал, что с ним что-то?..

– Скажем так: он не исключал, что с ним когда-нибудь может произойти несчастный случай. Он всегда говорил «несчастный случай», но мы оба знали, что он имел в виду другое.

Вайлеман отхлебнул из бокала большой глоток, но великолепный Сент-Амур больше не радовал его вкусом. Во рту у него появился металлический привкус. Адреналин. Охот-

ничья лихорадка. Где-то в затылке уже поднимался вопрос, какой редакции лучше всего предложить эту историю.

– Ты полагаешь, я должен?..

– Я полагаю, – сказала Элиза. – Это не даст тебе покоя, и рано или поздно ты начнёшь вести розыски. Так что всё-таки лучше, если ты сделаешь это сейчас. И я знаю также, с чего ты должен начать.

Лист бумаги, больше ему не требовалось. Так он начинал когда-то каждое большое расследование: со списка. Рассортировать собственные мысли. Записать всё, что знаешь, и – что гораздо важнее – чего не знаешь. Прояснить для себя, что ты, собственно, хочешь вывести.

Когда его уволили с последнего штатного места – а он бы поработал ещё года два, но стажёра они получали за половину его ставки, а качество статей для них уже было делом второстепенным, – тогда коллеги на прощанье подарили ему компьютерную программу, какой-то *Brain*, с помощью которого он мог в будущем сортировать свои идеи. Когда пару лет спустя его выжили из прежней его квартиры, коробка с CD так и не была распакована, и он выбросил её вместе с другим бесполезным хламом; большое спасибо, мило с вашей стороны, но думать он всё ещё мог сам.

Один лист бумаги, шариковая ручка.

Во-первых, «что?». Старые добрые вопросы журналиста.

«Дерендингер», – написал он в самом верху листа, а под фамилией слово: «Убийство?» Немного подумав, он заменил вопросительный знак восклицательным: «Убийство!» Не надо притворяться перед самим собой. Если потом из его расследования получится статья или, почему нет, даже серия статей, как тогда в случае Ханджина, то ему, конечно, при-

дётся формулировать осторожнее, в каждую вторую фразу встраивать «может быть» или «можно предположить». Теперешние шеф-редакторы уже не имели твёрдой задницы и из страха перед жалобами и обвинениями продолжали настаивать на фразе «у нас действует презумпция невиновности», когда даже редакционная кошка уже не верила в эту невиновность. Дерендингер умер не так, как было изображено официально, вот из чего надо исходить. Если полиция похоронила его под обложкой папки с пометкой «предположительно самоубийство», это означало только одно: мы не знаем, как это случилось. Или, может, даже: мы не хотим этого знать. Так или иначе, утверждение, что он упал вниз с Линденхофа, не может быть верным. Во-первых, потому что это падение нигде не было зафиксировано, и это в день, когда смотровая площадка с видом на Лиммат кишмя кишела туристами, и во-вторых, потому что сам Дерендингер только будучи суперменом смог бы пролететь от стены Линденхофа до начала мостовой Шипфе. Там даже в самом узком месте согласно Google Earth добрый десяток метров.

Значит, «Убийство!!» С двойным восклицательным знаком.

«Где?» было ясно, и в некоторой мере «Когда?» В половине третьего он сам встречался с Дерендингером по договорённости, больше четверти часа они не проговорили, или, вернее говоря, дольше Дерендингер его не уговаривал, а согласно данным полиции в половине четвёртого его труп уже

был найден на Шипфе. В этом временном промежутке всё и произошло.

Сорок пять минут, не больше. В течение этих трёх четвертей часа кто-то получил над Дерендигнером власть, напал на него, заманил куда-то, типа того, и убил его. Нельзя принимать как допущение, что он был ещё жив, когда его тело выложили на Шипфе, это было бы слишком большим риском, он мог бы кричать или двигаться, это бросалось бы в глаза. Дорогу вдоль Лиммата они, должно быть, заблокировали, иначе как бы они его туда доставили, на несколько минут такое было вполне осуществимо, не привлекая внимания, сорри, перевозка опасных грузов или что-то в этом роде. И это опять же означало, что в акции должны были участвовать несколько преступников, целая группа. Дерендингер к тому моменту не так долго был мёртв, иначе из него не вытекло бы столько крови, сколько видно на фото.

Вайлеман поставил уже третий восклицательный знак после слова «Убийство» и тут понял, что ему чего-то не хватает – не в рассуждениях, а в чувствах. Ведь речь шла всё же не о каком-то случае X или Y, не о безразличном тебе деле, на которое тебя поставило начальство, «и постарайся, Киловатт, чтобы из этого вышла интересная история», не о событии, которое тебя совсем не затрагивает и в котором – кровавое оно или нет – тебе можно судить лишь о количестве строк, которое из него можно выжать, речь шла не о каком-то незнакомом человеке, какими были для него, на-

пример, Ханджин и его жена, речь шла о Дерендингере, а он был не кто-нибудь, а коллега, с которым приходилось не раз иметь дело, что-то вроде друга, если угодно. Дерендингер, который попросил его о помощи. Который ему доверился. Который выбрал именно его для расследования и никого другого.

«Единственный, кого не пришлось бы лишать журналистского удостоверения за бездарность», – сказал он Элизе.

И тем не менее, Вайлеман не чувствовал себя лично задетым. В нём присутствовал лишь охотничий инстинкт, нет, если ещё точнее: радость охоты, обострение наблюдательности, которое приходило к нему перед каждым большим репортажем. Может, то был цинизм? Профессиональная деформация? Может, этого следовало стыдиться? Или то была лишь естественная реакция на происшествие, пусть и трагическое, но не касающееся его лично, о котором можно размышлять так же отвлечённо, как о далёкой войне, когда люди где-нибудь там, типа в Турции, убивают друг друга. Он вспомнил, что Штэдели в *Tagess-Anzeiger* постоянно вычёркивал у него цитаты из классики – на том основании, что в наши дни никто их не распознаёт, единственное общее культурное достояние, какое ещё можно ожидать от читателей, это рекламные слоганы – «квадратиш, практиш, гут».

Не отвлекаться! Задет ты лично или нет – если тебе удастся разузнать, что кроется за смертью Дерендингера, тем самым будет исполнена его последняя воля.

Итак, назад к списку.

Рубрика: «Как?»

«Организованно», – пометил он и добавил: «...и распланированно». Такая сложная инсценировка не могла возникнуть экспромтом, слишком много координации требовалось для этого – начиная от убийства Дерендингера и кончая размещением его трупa. Кто бы ни стоял за этим преступлением, он распланировал всё именно так, как и было исполнено; если бы дело заключалось только в устранении Дерендингера – по каким бы ни было причинам, – труп просто исчез бы без всяких следов, незаметно.

Итак, для чего понадобилась эта сложная, многозатратная и вместе с тем привлекающая внимание акция? Ещё один вопрос, на который надо найти ответ.

«Кто?»

«Люди с влиянием», – написал он. Иначе быть не могло. Броский смертельный случай, прежде всего, когда речь шла о таком более-менее известном человеке, как Дерендингер, на это ринулся бы любой криминалист, потому что – даже если бы дело не прояснилось – это послужило бы продвижению карьеры, можно было бы собирать пресс-конференции и со значительной миной смотреть в камеры. А здесь? Десять минут делали вид, будто ведут расследование, а потом поставили сверху печать «Самоубийство» и закрыли дело. Это могло означать только одно: кто-то отдал распоряжение томить это варево на медленном огне, и этот кто-то должен



сидеть достаточно высоко, возможно, в самой полиции, иначе он не мог быть уверен, что его распоряжение будет исполнено.

Далее. «Почему?»

Дерендингер, он сам это говорил год назад, вышел на след какой-то крупной истории, и если Вайлеман правильно истолковал его скупые намёки – разумеется, он истолковал их правильно, иначе не сошлись бы те ключевые слова, которые сказал ему Дерендингер на Линденхофе, – тогда эта история как-то связана с убийством Вернера Моросани, то есть с тогдашней давней аферой, о которой, как считалось, всё было сказано, написано множество статей и опубликованы книги.

«Раздобыть книги по убийству Моросани», – пометил Вайлеман и заменил «раздобыть» на «скачать», он ведь был на уровне своего времени, не более дремуч, чем любой другой.

Убийство Моросани... Дерендингер, должно быть, вышел на след какого-то неизвестного аспекта той старой аферы, открыл какую-то деталь, которую кто-то непременно хотел сохранить в тайне. Или он эту деталь уже нашёл – и его смерть должна была воспрепятствовать опубликованию. В ходе своей карьеры Вайлеман сталкивался с несколькими случаями, участники которых всеми средствами старались не допустить выхода статьи в свет. Были попытки подкупа. Воздействия на издателя, а однажды даже ночные звонки с угрозами. Но чтобы убийство? Из-за какой-то газетной ста-

тьи? Спустя столько лет после события? Кто бы на это пошёл?

Чтобы ответить на это, был лишь один путь: выяснить, что это за тайна была, которую теперь кто-то так рьяно и насильственными способами оберегал. Если он хотел найти, «кто», он должен был сперва иметь «почему».

Трудно.

Помимо того факта, что всё связано с событиями давно минувших дней, ему не за что было ухватиться. Дерендингер дал ему только две зацепки, и с обеими он не знал, с чего начать. Но в список они непременно входили.

Одна была – фамилия, которая, насколько он знал, ни разу не всплывала в связи с убийством Моросани. «Поговори с Лойхли, – сказал Дерендингер, – он тогда организовал турнир». Если под турниром имелись в виду давние события на Альте Ландштрассе, это могло означать...

Не делать преждевременных выводов, напомнил он себе. Сперва просто собирать факты. У него была эта фамилия и был – если исходить из того, что его коллега не просто свихнулся, это тоже должно было иметь какое-то значение – ещё тот значок, который Дерендингер сунул ему в ладонь, вот буквально сунул. Ржавый значок с гербом кантона Берн.

Вайлеман уставился на лист бумаги, занеся над ним ручку. Но в голову ему больше не приходило ничего, что бы он мог записать под заголовком «Зацепки». Только эти два слова: «Лойхли» и «Бернский герб». Не так чтобы много.

Если он хотел продвинуться, он должен был как бы перенестись в Дерендингера и завершить его розыски, должен был выяснить, где тот рылся и кого расспрашивал. Но Дерендингер явно действовал всё это время в одиночку и никого не посвящал в свои расследования. И Элиза, с которой он даже близко взаимодействовал, ничего про это не знала.

Она знала лишь, что Дерендингер боялся.

Во время встречи на Линденхофе этот страх был виден по нему, по его беспокойно бегающим глазам и по холодному поту на лбу. Должно быть, Дерендингер знал, что он в опасности; возможно, где-то когда-то задал слишком опасный вопрос, действовал без необходимой осторожности. Наверное, думал: если со мной что случится, кто-то должен довести мои розыски до конца. Поэтому и обратился к своему старому конкуренту, для того и пустил его по следу, поэтому и...

Поэтому и сам он был теперь в опасности, сообразил Вайлеман. Если люди, которые убили Дерендингера, заметят, что он подхватил эту нить, они обойдутся с ним не менее безоглядно.

И тем не менее – было ли это осознание ответственности, мужество или просто упрямство? – тем не менее он в этот момент и не подумал о том, чтобы оставить это дело. Просто ему придётся действовать ещё осмотрительнее, ещё осторожней.

Объяснение, которое он придумал на самый крайний случай, было такое: они всегда дружили с Дерендингером, лучшие приятели не один десяток лет, регулярно посещали друг друга, чтобы поболтать о старых временах, два вышедших на пенсию журналиста, у которых было много времени и много общих воспоминаний. Разве это не убедительно? Они обменялись ключами от своих квартир, чтобы и это было понятно, в их возрасте ведь никогда не знаешь, вдруг понадобится помощь, достаточно споткнуться – и ты уже лежишь с переломом и даже до телефона не доберёшься. Или, если не думать сразу о худшем: другой может явиться в гости, когда ты только что удобно устроился на диване, и тут гораздо практичнее, если он может открыть дверь своим ключом, и тебе не придётся со скрипом подниматься с дивана – Вайлеману с его дурацким тазобедренным суставом, а Дерендингеру... Что там могло быть у Дерендингера? Не прихрамывал ли он или что-то в этом роде, но что не бросалось бы в глаза. Ага, приступы головокружения, это хорошо, в их возрасте это бывает у каждого второго.

Он пришёл, так он себе выдумал, чтобы взять книгу, которую давал Дерендингеру почитать, его собственность, и такой поиск определённой книги, пока ещё вся обстановка покойного не перекочевала в магазин подержанных товаров

Брокенхаус, это ведь была подходящая причина, чтобы порыться в вещах Дерендингера. Ключ от квартиры он бы потом отослал домоуправлению. Если бы об этом кто-нибудь спросил.

Нет, сказала Элиза, не от каждого клиента у неё был ключ, собственно, она никогда не посещала их на дому, с Дерендингером было другое дело, он хотя и начинал как клиент, но со временем он стал другом, настоящим другом, тем, по которому скучаешь, когда его больше нет. И Элиза, эта суверенная, сдержанная Элиза вдруг расплакалась ни с того ни с сего, больно было смотреть. Как будто тот похоронщик с панихиды нажал не на ту кнопку – не «траурная музыка» или «гроб снизу», а «слёзы». Она так же быстро прекратила плач, можно было подумать, что всё это было наиграно, только вытерла глаза – и сразу спокойно сказала:

– От входной двери дома у меня нет ключа, но если нажмёшь на самую верхнюю кнопку, где написано «Почта», то дверь откроется.

Квартира Дерендингера была в Випкингене, в доме, из которого открывается вид на реку – если, конечно, квартира расположена на дорогой стороне. Чего Дерендингер, конечно, не мог себе позволить, его обеспечение в старости вряд ли было существенно лучше, чем у Вайлемана. Дешёвая сторона выходила на проезжую улицу с её нескончаемой автоколонной. Когда-то здесь был секретный объезд, известный только местным, которые срезали здесь дорогу от автобана

в город, но с тех пор, как транспортный поток стал управляться централизованно, улица стала всего лишь ещё одной транспортной жилой среди прочих.

В подъезде воняло искусственным лимоном, одним из этих химических ароматизаторов, без которых нынче не обходится ни одно моющее средство, *mundus vult decipi*. Подъём по лестнице был убийственным для его бедра, но он заставил себя ни разу не остановиться до четвёртого этажа, иначе это могло выглядеть как неуверенность человека, впервые разыскивающего квартиру, а ведь у случайного наблюдателя должно было сложиться впечатление, что он бывал здесь часто. Он никого не встретил, но ведь у каждой двери есть глазок, а встроена ли где-нибудь камера, никогда не знаешь.

Должно быть, Дерендингер был легче на подъём, чем он. Без лифта на четвёртый этаж – это был уже почти альпинизм. Наконец-то табличка на двери: *Феликс Дерендингер*. Ключ подошёл.

Свет в крохотной прихожей, коридором это не назовёшь, зажёгся сам. Вайлеман не любил эти датчики движения, хотя они экономили электричество, ему всегда казалось, будто кто-то непрерывно заглядывает ему через плечо.

Воздух был застойный, даже немного тухлый, как ему показалось, но это, наверное, только почудилось, потому что он находился в квартире покойника. Вайлеман открыл бы окно, но окна не открывались – из-за транспортного шума, а форточку для проветривания он нигде не нашёл. Ну и ладно.

Откуда начать поиск, когда не знаешь, что искать?

Гостиная, спальня, кухня, ванная. Всё очень маленькое, комнатки выгорожены из некогда просторной квартиры. «Компактное жильё в хорошей транспортной доступности», так это называется теперь на сайтах недвижимости.

Кухня сразу отпала: она была такая крошечная, что в ней не поместился даже столик; в такой завтракают стоя. По скудным запасам даже самый бездарный криминалист прочитал бы, что они принадлежали старому человеку: пресный хлеб для тостов – теперь он уже, конечно, закаменел, но по нему и так было видно, что он пресный – того сорта, который не имеет вкуса, но жуётся даже плохими зубами; маргарин с обещанием понизить уровень холестерина и упаковка соевого молока. Доктор Ребзамен тоже рекомендовал ему такую же здоровую еду, из-за её лёгкой усвояемости, но Вайлеман предпочитал засиживаться в туалете, чем переходить на такую старческую диету. У Дерендингера, похоже, были сходные проблемы; человек с хорошим пищеварением не покупает себе большую упаковку чернослива.

В ванной – полный срез всех обычных старческих болячек, две полки, полные лекарств; ими можно было бы оснастить среднюю аптеку. У Дерендингера, видимо, всё было так же, как у него самого: приходят какие-то хвори, всякий раз новые, организм ведь изобретателен, идёшь к врачу и просишь прописать тебе что-нибудь против того-то и того-то, принимаешь пару дней аккуратно, потом снова за-

бываешь, сперва по нерадивости, потом из пессимизма и покорности судьбе, ведь здоровее не становишься. А вот и ещё одно сходство: Дерендингер тоже брился электрической бритвой.

Гостиная, одного взгляда достаточно, чтобы увидеть это, использовалась главным образом как кабинет. Полка, набитая аккуратно подписанными регистраторами; Вайлеман, значит, был не единственным, кто так и не собрался оцифровать свои бумаги.

Сперва быстренько осмотреть спальню. Превосходно всё прибрано. Кровать застелена – усилие, которое Вайлеман у себя в квартире уже давно сэкономил, а для кого? Пижама лежит на подушке, аккуратно свёрнутая. В армии Дерендингер был старшим лейтенантом. И в платяном шкафу всё аккуратно рассортировано, костюмы в ряд и рубашки сложены стопочкой. Выдвижной ящик с трусами Вайлеман тут же снова задвинул. В детективных романах там всегда были спрятаны самые секретные тайны, но рыться в личных вещах Дерендингера – это всё-таки слишком интимно.

На стене, прямо напротив кровати был прикреплён чертёжными кнопками старый выборный плакат конфедеративных демократов, тот знаменитый, со стервятниками, готовыми растерзать Швейцарию. Птицы с окровавленными клювами были, должно быть, первым, что бросалось Дерендингеру в глаза по пробуждении, и это было скорее странно, Дерендингер хотя и был всегда политизирован, но к сторонни-



кам КД Вайлеман его никогда не причислял. Может, со временем он просто всё больше сползал вправо, он был бы не первым, кто с возрастом вступал в климакс и в политическом смысле. Других картинок в комнате не было.

На ночном столике очки для чтения с чертовски толстыми стёклами и одна-единственная книга, не то что у него дома: целая стопка. Юрий Львович Авербах: *Учебник эндшпилей*. Авербах был шахматным классиком, и в сто лет всё ещё при деле, но для такого «чайника», как Дерендингер, всё-таки высоковат на несколько этажей. Как если бы человек, умеющий сыграть на флейте *Все мои уточки*, взялся бы изучать партитуру Моцарта. Абсолютная мания величия Дерендингера – держать на ночном столике такую книгу для профи.

Между двух страниц было что-то заложено и выглядывало наружу: выцветший фотоснимок. Авербах, здесь он был много старше, чем на титульном листе своего учебника, за столом с шахматной доской. Слева и справа от него – как охрана – двое мужчин, оба с застывшими улыбками, с какими позируют многие. Одного из них фотограф застал в неподходящий момент: один глаз был закрыт, и это походило на то, будто он рассказывал неприличный анекдот и подмигнул. Второй мужчина показался Вайлеману знакомым, хотя он не мог вспомнить, откуда. На заднем плане – большой флаг Швейцарии. Ему сразу стало ясно, когда был сделан этот снимок: во время единственного приезда Авербаха в Швейцарию. Русский гроссмейстер был уже немолодым,

приехал в Цюрих на сеанс одновременной игры, двадцать четыре партии разом, и двадцать две из них выиграл, а две сыграл вничью. Вайлеман сам тогда участвовал в этом сеансе, сыграл неплохо, староиндийской защитой, он помнил до сих пор, но после тридцати ходов его позиция была безвыходной, и он сдался. Это не было позорно – с таким-то противником. На снимке у Авербаха недовольный вид, но, возможно, такое впечатление складывалось лишь по контрасту с его улыбчивым окружением. К его лацкану был прикреплён один из этих гербов кантона, какие теперь носят все; видимо, кто-то ему подарил.

Вайлеман положил зачитанную книгу на место и выдвинул ящик ночного столика. Там – наряду с обычным хламом – находился единственный интересный предмет: маленькая фотография, может быть, сделанная в фотоавтомате, с изображением женщины.

Элиза.

Он быстро задвинул ящик, быстрее, чем было необходимо. Ему тяжело было представить, что Дерендингер и Элиза в этой совершенно не романтической комнате, в этой постели...

Он не хотел это представлять. Его это и не касалось. Он снова выдвинул ящик, взял фото и сунул его в свой бумажник. Если бы его кто-нибудь спросил, зачем он это сделал, он не нашёл бы разумного объяснения.

И, наконец, кабинет. Поверхность письменного стола по-

что пуста, немногие предметы расставлены и разложены так упорядоченно, как будто в магазине офисной мебели заставили ученика-подмастерье красиво декорировать залежалый товар. Телефон современнее, чем у Вайлемана, но модель всё ещё отечественная, с привычным логотипом Swisscom из времён до продажи китайцам, а рядом продолговатое металлическое корытце с карандашами и шариковыми ручками, блок для заметок без заметок и статуэтка Оскара с латунной табличкой на цоколе и гравированной надписью Лучшему журналисту. Должно быть, прощальный подарок коллег, когда Дерендингер уходил на пенсию. Имитированная позолота Оскара во многих местах отшелушилась, обнажив белёсую пластмассу.

И больше – ничего. Абсолютно ничего. Прежде всего ни компьютера, ни коммуникатора, вообще ни одного электронного прибора. Не взял ли уже кто-то эти вещи из квартиры?

Идиотский вопрос. Разумеется, кто-то их забрал. Если Дерендингер был убит, и если причиной убийства были его розыски, это было логично.

Вайлеман повертел блок для заметок в круге света настольной лампы туда и сюда. Это была попытка сыграть детектива, и он сам себе показался при этом смешным. И поиски ничего не дали: верхний лист блока не сохранил никаких продавленных следов предыдущих записей.

Перед тем как сесть в рабочее кресло Дерендингера, он

немного помедлил. Но иначе ему было не добраться до выдвижных ящиков; нагибаться было уже не так просто, как раньше.

Он и там не нашёл ничего интересного; обычный мелкий хлам, который всегда сохраняешь пару лет, чтобы потом всё-таки выбросить; кабели для приборов с разъёмами, которые давно уже вышли из употребления, портмоне с надорванным отделом для монет, открытый пакетик жевательных мишек и тому подобная дрянь. В прозрачном файлике несколько гарантийных свидетельств. Единственной интересной была маленькая камера, такую же Вайлеман всегда брал с собой на репортажи, раньше это было последнее слово техники, теперь музейное старьё. Прибор включался, должно быть, Дерендингер его недавно использовал, но чип с записью кто-то уже удалил.

И это всё. Ничего такого, что навело бы Вайлемана на дальнейшие поиски.

Оставались ещё только регистраторы на стеллаже, каждый был датирован каким-то годом, надписи сделаны чётким чертёжным шрифтом, который использовался в те времена, когда строительные чертежи делали ещё вручную. Он вытянул наугад одну папку. Газетные статьи, все подписанные «Феликсом Дерендингером» или сокращением «Фед», каждая аккуратно вырезана, наклеена и подшита в строгом хронологическом порядке. Здесь не царил тот хаос воспоминаний, который громоздился горой на собственном столе Вайлемана, нет. Здесь был сохранён каждый текст, когда-либо написанный покойным, в том же порядке, как он был опубликован; по крайней мере, складывалось впечатление, что у этого собрания не могло быть лакун. Дерендингер был явно хорошо организованным человеком. «Нет ничего мертвее вчерашних крупных заголовков». Если это старое правило верно, то эта книжная полка была самым образцовым кладбищем, какое Вайлеман когда-либо видел.

Статья, на которой он случайно раскрыл папку, представляла собой обзор выборов в Федеральный совет какого-то незапамятного года, в этом обзоре Дерендингер предсказывал, что конфедеративные демократы употребят своё недавно завоёванное абсолютное большинство на то, чтобы впервые с 1891 года снова выбрать в Швейцарии однопартий-

ное правительство. Хороший журналист – не всегда хороший прорицатель: в том году получилось иначе, КД выбрали в Федеральный совет только шестерых своих людей, а на седьмое место, чтобы доказать свои демократические убеждения, назначили социал-демократа, который, однако, не принял пост – Вайлеману оставалось лишь перевернуть лист, чтобы найти статью Дерендингера и на этот счёт, – как с тех пор и каждый выбранный социал-демократ отказывался играть роль алиби-петрушки в правительстве, где тотально доминировали конфедеративные демократы. С тех пор, и это уже стало традицией, так же, как раньше традицией была «магическая формула», только шесть членов правительства вступали в службу, а седьмое кресло в палате Федерального совета оставалось пустым, и на официальном фотоснимке Федерального совета всегда оставляли пробел в своём ряду, чтобы люди из КД могли сказать, что вовсе не их вина в неполном формировании правительства, это левые по непонятным причинам отвергли доброе швейцарское согласие. В первый раз это было ещё сенсацией или хотя бы событием, достойным упоминания, но теперь стало политической повседневностью.

Вайлеман поставил регистратор на место, подравняв его корешок под прямую линию других подписанных корешков; Дерендингеру бы это понравилось. Ожидал ли он, что полное собрание его статей когда-нибудь станет ценным наследием в архиве? Рисовал ли в своём воображении собствен-

ную библиотеку Дерендингера, куда юные журналисты совершали бы благоговейные паломничества? Или он был достаточным реалистом, чтобы знать, что работа всей его жизни после его смерти встретит горячий интерес в одном-единственном месте: в лесу Хагенхольц, на мусоросжигательном заводе.

Для последних лет Дерендингер использовал более тонкие регистраторы. В последнем регистраторе содержалась одна-единственная статья: юбилейная, к девяностому году Цезаря Лаукмана, не некролог, но почти что. «Недооценённый мастер популярной культуры». Странно, по закону парных случаев часто натыкаешься на одно и то же дважды. Статья была, может быть, его самым последним заданием; как это обычно бывает, редакционный компьютер выплюнул круглую дату, и они размышляли, кто бы мог ещё знать этого Лаукмана. У Вайлемана тоже всё обстояло приблизительно так же, и не было большой разницы, писать ли дюжину сотен знаков о полуживом или о мёртвом.

Почти пятьдесят регистраторов. Для лучших лет карьеры Дерендингеру понадобилось не по одной, а по три, а один раз целых четыре регистратора на годовую подшивку его статей. У Вайлемана ушли бы дни на то, чтобы всё это просмотреть. Та или иная статья наверняка были интересными, но даже если бы Вайлеман прочитал их все от первой до последней строчки, даже если бы выучил их наизусть, он бы в них, можно держать пари, нигде не нашёл бы подсказки, истори-

ей какого разоблачения Дерендингер был занят перед смертью. Никакого следа здесь не осталось, во всей квартире, кто-то здесь уже тщательно всё прибрал. Ничего содержательного уже не найти, абсолютно ничего, и вот это ничто и было подозрительным, оно и служило доказательством того, что здесь очень даже было чего найти, должно было быть. Никто, даже оголтелый перфекционист не убирает свою квартиру так основательно перед тем, как выйти из дома, не оставив даже обрывка с записанным телефонным номером, опорожнив даже корзину для бумаг, а уж тем более старый холостяк, каким был Дерендингер, не оставляет все комнаты в таком виде, будто в них только что побывала уборщица, которую он не мог себе позволить.

Разве что он принимал в расчёт, что во время его отсутствия кто-то может обыскивать его квартиру.

Или...

Вайлеман тут же отринул ту мысль, которая развёртывалась у него в голове. Нет, что бы ни утверждала полиция, это состояние квартиры не было сверхпорядком самоубийцы, который всё рассортировал для тех, кто будет тут хозяйничать после него; если бы так, Дерендингер оставил бы прощальное письмо. Человек, все свои дела приводивший на бумагу, не уходит без слов. И вообще, если Вайлеман в ходе своей карьеры чему-то и научился, так тому, что мир был неупорядоченным устройством; там, где он выказывал себя слишком упорядоченным, что-то, как правило, было не



так. Пустой письменный стол Дерендингера казался ему похожим на один из тех слишком обтекаемых ответов, которые он – как журналист, расследующий какое-то дело, – всегда получал на критические вопросы; как одно из этих безупречно сформулированных пресс-коммюнике, которыми кто-то стремился доказать, что рыльце у него не только не в пушку, но и вообще отсутствует как рыльце. Никто не засылает колонну уборщиков, если убирать действительно нечего.

Год назад Дерендингер с гордостью обещал предъявить большую историю, которой был тогда занят, а во время их встречи на Линденхофе он своими намёками дал ему понять, о чём на самом деле шла речь. Если он спустя столько времени всё ещё расследовал убийство Моросани, то речь шла не о пустячной детали, не о каком-то побочном историческом примечании. Ради примечания не станешь подвергать свою жизнь опасности. Должно было быть что-то более серьёзное, нечто такое, что возымело бы для кого-то плохие последствия, если бы вышло на поверхность. Может быть, тогда один из задействованных служивых людей повёл себя неправильно, в некоторых газетах в своё время поговаривали, что смертельный выстрел в убегающего Хабешу последовал подозрительно быстро. Неужели Дерендингер по прошествии стольких лет нашёл ещё одного свидетеля? Может быть, этот свидетель тогда был ребёнком и лишь во взрослости осознал то, что видел когда-то? Может, Хабеша – и такие рассуждения можно было тогда прочитать – был готов

сдаться, а полицейский всё равно нажал на курок? Может – уж рассуждать так рассуждать, – тот полицейский стал за это время большим чином, ведь после победы КД в выборах смертельный выстрел определённо не помешал его карьере. Может, он распорядился убить Дерендингера, чтобы воспрепятствовать...

Что толку городить предположения и надумывать связи – это занятие для бульварных писак, но не для серьёзных журналистов.

Журналисты собирают факты.

Здесь не обнаружилось никаких фактов, это уже стало Вайлеману ясно, тут кто-то оказался шустрее, чем он, но, может быть, Элиза всё-таки располагала какой-то информацией, сама того не замечая; может, знала какую-то деталь, из которой можно вывести, за каким таким подозрением охотился Дерендингер. Надо, чтобы она ему рассказала, о чём они беседовали, в том числе о вещах, которые она, может быть, не связывала с розысками. И – это тоже дала ему понять эта столь тщательно убранная квартира – он должен вести свои розыски незаметно, чтобы в конце концов с ним самим не случилось того же, что и с Дерендингером.

Хотя...

Это была смешная мысль, разумеется, бессмысленно драматичная, но вместе с тем в ней было что-то привлекательно героическое: пожертвовать жизнью ради разоблачения скандала, тоже быть убитым во время поиска сокрытой правды,

это был бы по крайней мере достойный конец для журналиста старой школы, для человека, который изучил свою профессию с самых азов. Всё лучше, чем медленно загибаться в какой-нибудь безымянной больничной палате, как сейчас происходит с Волей, которого даже его положение пожизненного президента конфедеративных демократов не смогло уберечь от желудочного зонда и аппарата искусственного дыхания. Последний жирный заголовок, ещё более крупными буквами, чем тогда, когда он расследовал случай Ханджина, и потом...

Но крупного заголовка не будет, равно как и Дерендингер так и не смог написать свою последнюю большую статью. Придётся действовать умнее, результаты своих розысков поместить у какого-нибудь адвоката, который потом позаботится о том, чтобы хотя бы посмертно...

Он не мог бы сказать, как долго он простоял неподвижно у стеллажа с регистраторами; когда он так погружался в свои мысли, у него пропадало всякое чувство времени. Он находился здесь уже слишком долго, если кто-то видел, как он заходил в квартиру, и тогда отговорка с книгой, которую он якобы искал и не нашёл, была бы шита белыми нитками.

Он был уже у дверей квартиры, как вдруг вспомнил про книгу на ночном столике Дерендигера, с фотографией Авербаха в качестве закладки. Было жаль, что такая хорошая вещь попадёт в мусор, всё-таки было бы лучше взять её с собой, на память о коллеге, с которым он по-настоящему по-

дружился только после его смерти.

С шахматным учебником в руках он с трудом спускался по лестнице; странным образом спускаться вниз было труднее для его тазобедренного сустава, чем подниматься вверх. На втором этаже у начала ступеней стоял мужчина, широко расставив ноги и преградив ему путь.

– Эскьюзи, – сказал Вайлеман. Мужчина не ответил. Но и не пропускал его, а оглядел сверху донизу:

– Откуда вы идёте, позвольте спросить?

Он не буквально имел в виду «позвольте спросить», его тон ясно давал понять, что он принадлежит к тем людям, которым уже заранее позволено спрашивать о чём угодно, и лучше им отвечать, если не хочешь неприятностей.

– Я был у господина Дерендингера, то есть в его квартире. Он уже давно дал мне свой ключ, и я хотел забрать книгу, которую давал ему почитать, до того, как... до всего...

– Вот эту книгу? – спросил мужчина. – Позвольте взглянуть?

В данном случае «позвольте» опять было лишь пустым оборотом речи.

Мужчина полистал шахматный учебник, раскрыл на первой странице, как будто был антикваром и хотел взглянуть на выходные данные книги, и потом спросил:

– Вы и есть Вайлеман?

– Вайлеман, да. – Его голос не дрогнул, и он немножко был горд этим. – Курт Вайлеман. А откуда вы знаете?..

– Вот же написано. – Мужчина протянул ему раскрытую книгу, и действительно, на пустой странице рядом с титульной стояло **Ex Libris Kurt Weilemann**. Ниже стоял его адрес. Тем же угловатым чертёжным шрифтом, каким были подписаны корешки регистраторов.

В книге, которую он видел сегодня впервые в жизни.

Мужчина на лестнице в подъезде, Вайлеман хотя бы надеялся на это, был всего лишь дворник или даже один из обычных жильцов, особенно ретивых, всерьёз воспринимающих слоган «каждый отвечает за общество в целом». Официальной функции у него не могло быть, иначе бы он спросил удостоверение личности, а не принял на веру, что Вайлеман действительно тот, чьё имя и адрес обозначены на форзаце книги. Или, может, он сообразил это с опозданием, тогда облегчение Вайлемана напрасно, или он оттого не попросил у него удостоверение личности, что и так знал, кто спускается по лестнице, потому что поджидал его, и это опять же значило, что...

Лучше всего вообще не пускаться в эти рассуждения, в них запутаешься, как в дебрях, зацепившись тут за какое-нибудь «если», а там за «может быть», и весь твой научный подход никуда не приведёт, а только заставит тебя нервничать. Будь это всего лишь любопытный жилец дома, один из тех, кто умывает свой нос лишь для того, чтобы сунуть его не в своё дело, такие люди находились всегда, а с тех пор, как собственное любопытство можно стало выдавать за патриотизм, они стали расти на каждом дереве. Так или иначе: тот экслибрис в учебнике по шахматам, о котором он ничего не знал, этот экслибрис оказался лучшим доказательством за-

готовленной отговорки, что он явился в квартиру покойного, чтобы забрать свою книгу, и он эту книгу нашёл и взял, всё ясно, большое спасибо, хорошего вам дня. Короткое задержание имело свои преимущества, его тазобедренный сустав, не любивший эти покорения Эвереста, мог немного передохнуть, хоть какой-то плюс.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.